

The background of the cover is a dark, textured blue-grey. On the left, there is a stylized, brown, blocky figure of a person standing on a dark, angular shape. In the bottom right, there is a profile of a man with glasses and a mustache, smoking a cigarette. The overall style is reminiscent of mid-20th-century Russian art.

Вадим Месяц

ДЯДЯ  
ДЖО

роман с Бродским

РУССКИЙ  
ГУЛЛИВЕР

Вадим Месяц

**Дядя Джо. Роман с Бродским**

НП «Центр современной литературы»

2020

УДК 821.161.1-31 Месяц  
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

## **Месяц В. Г.**

Дядя Джо. Роман с Бродским / В. Г. Месяц — НП «Центр современной литературы», 2020

ISBN 978-5-91627-237-6

«Вечный изгнанник», «самый знаменитый тунеядец», «поэт без пьедестала» — за 25 лет после смерти Бродского о нем и его творчестве сказано так много, что и добавить нечего. И вот — появление такой «тарантиновской» книжки, написанной автором следующего поколения. Новая книга Вадима Месяца «Дядя Джо. Роман с Бродским» раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата, намекает на то, что реальность могла быть совершенно иной. Несмотря на авантюристичность и даже фантастичность сюжета, роман — автобиографичен. Действие происходит в 90-е годы прошлого века в Нью-Йорке. Героями книги наряду с Бродским стали Эрнст Неизвестный, Сергей Курёхин, Андрей Битов, Алексей Парщиков, Евгений Евтушенко, Дмитрий Пригов, Аркадий Драгомощенко, Елена Шварц, Татьяна Толстая, Петр Вайль, Александр Генис и другие известные люди.

УДК 821.161.1-31 Месяц  
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-91627-237-6

© Месяц В. Г., 2020  
© НП «Центр современной  
литературы», 2020



## Содержание

Часть первая	6
Столица мира	6
Ельцин	10
Разговор с языческим богом	11
Майя	14
Москали	18
Пара гнедых, запряженных зарею	20
Часть вторая	24
Салливанс-Айленд	24
Тюрьма	30
Rage, rage!	35
Мускулы плодов	39
Часть третья	42
Сообщение о квиритах	42
Джефферсон, 29	46
Во сне и наяву	48
Маргарита	50
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# Вадим Месяц

## Дядя Джо. Роман с Бродским

*Идеи приходят с неба, не считай их своими, тут же передавай для осуществления и забывай о них.*

**Лао-Цзы**

*Если бы я не был художником, я вряд ли работал бы на почте или восьмичасовой должности. Думаю, я был бы кидолой. И всю жизнь бежал бы от ребят из отдела по экономическим преступлениям.*

**Квентин Тарантино**

*– А что мне делать? – ответил Шура. – Пойду в дети лейтенанта Шмидта – и всё.*

**Ильф и Петров**

© В. Месяц, текст, 2020

© А. Николаенко, обложка, 2020

© Т. Бейлина, фото, 1991

© «Русский Гулливер», издание, 2020

© Центр современной литературы, 2020

## Часть первая Мажор

### Столица мира

– А вы напишите письмо вождям Советского Союза и приезжайте к нам, – сказал Бродский. – Так многие делают. Напишите в России, а отправляйте из Америки. Почта здесь работает хорошо. И вообще – безопасней. Лучший экспромт – тщательно подготовленный экспромт.

Я закурил у открытого окна. В небе мерцали звезды. Они не вызывали во мне размышлений. Мало ли что значат эти огоньки над головой? Ночной Екатеринбург. Холод. Маленькая сигаретка в ответ. Меня поражало качество телефонной связи. Поэта было слышно, словно он находился в соседней комнате, а не за тысячи миль, «на континенте, держащемся на ковбоях».

– Советского Союза? – переспросил я. – У нас теперь осталась только Российская Федерация. Эрэфия. Остальные самоопределились.

– Вы в этом уверены? – засомневался поэт. – Я до сих пор не могу привыкнуть. – Потом востепенел. – Если это действительно так, то чудесно! Это предел мечтаний! Разрушена империя зла!

– Ну и кому теперь писать? Царю Дадону? – пробормотал я.

– Письма бывают разоблачительными, примирительными, конструктивными, неконструктивными, покаянными, добрыми, злыми. Наконец, бывают просто прощальные письма. Напишите вашему вождю прощальное письмо. Вы ладите с властями?

Нет, с властями текущего исторического периода я не ладил. Одни партийные хари сменились другими, ставропольский клан передал полномочия уральскому. В политику пришли недоделанные лаборанты, доделанные бандиты, разнообразные дворники и сторожа. В основном – склочная интеллигенция, испорченная квартирным вопросом. Со жлобами я, как существо одухотворенное, общего языка не находил.

– О, – обрадовался Бродский. – Так и напишите. Вокруг хамские морды, а тут я, такой нежный.

Я подумал, что он издевается.

– А что, в Америке нет хамских морд?

– Почему? Хватает. У нас их даже больше. Другое дело, что в Америке можно не обращать на них внимания.

– Как это?

– Да так. Я не обращаю на них внимания. Они не обращают внимания на меня. Здесь возможно частное существование личности. Privacy. Собственность неприкосновенна. Но личность неприкосновенна вдвойне. А в России – общага, стадный коллективизм. И так далее и так далее.

Я задумался. Коллективизм мне нравился. Я бы даже сказал, что мне нравился мистический коллективизм. Крестный ход. Соборность. Чувство локтя. Товарищество. Взаимовыручка. Пролетарский интернационализм. «Строили мы, строили – и наконец построили». В спорте я предпочитал командные виды типа волейбола. Родился в Сибири. Там отшельником-индивидуалистом не проживешь. Замерзнешь.

Я не стал говорить об этом поэту. За годы на чужбине он мог забыть чувство советского товарищества.

Несколько месяцев назад я переехал из студенческого Томска в промышленный Свердловск. Приблизился к цивилизованной Европе. В городе были киностудия и Дом кино, где я посмотрел фильм Бергмана «Фанни и Александр». Тут же решил, что жизнь удалась. География выстраивает мозг в соответствии с ландшафтом. В центре города находился Театр оперы и балета, построенный пленными немцами, для которого мои друзья сочиняли либретто о современности. Кривоногий гоблин, стоящий на глыбе гранита в центре города, изображал известного революционера, но на него после разоблачений журнала «Огонек» лишь злобно косились. Рядом благоухал зоопарк, откуда мы с моим другом по пьяни пытались освободить дикобразов. На улице Первомайской возвышались монументальные общественные бани. В гастрономе на улице Ленина наливали шампанское. В книжных магазинах продавали книги. И люди их с жадностью покупали. Постчеловеческое общество здесь еще не состоялось.

– У нас тут стреляют, – сообщил я Бродскому. – Стреляют по ночам, потому что ночью лучше слышимость.

– По-вашему, стрельба только для звука?

– Когда как.

Я признался, что меня тянет на прогулку в такие огнестрельные часы.

– Иногда подростки раздевают женщин. Окружат толпой, снимут шубу, платье, серьги и колъе, оставят в чем мать родила и – смываются на авто. Днем. В центре города. Я бы не сказал, что это романтическое зрелище.

– Некрасиво. Здесь такого не было даже во времена Дикого Запада. Демократия всегда начинается с грабежа.

– Мне по кайфу, – сказал я. – В нашу жизнь нужно вернуть опасность. Только тогда человек ценит то, что он еще жив.

– Вы слишком молоды, – вынес заключение Бродский. – Это синоним глупости. Или у вас генетическая предрасположенность к иррациональным поступкам? Такое бывает. Дромомания – склонность к бродяжничеству, пиромания – к поджигательству. Еще есть «мания величия», но это не о вас, кажется...

– У меня булимия, – нашелся я, хотя не был уверен в значении этого слова.

– Ну, это нормально, – согласился поэт. – Растущий организм требует мяса. У вас продают мясо? А сыр?

Я рассказал о разнообразии ассортимента на прилавках молодого государства. Живописал ларьки с решетчатыми окнами, стоящие по всему городу. Спирт «Рояль», водку в одноразовых стаканчиках с крышкой из фольги, киви, манго, бананы, прочие экзотические продукты.

– Появились американские шоколадные батончики. Кока-кола в больших пластиковых бутылках. Купил недавно паленый виски. Отравился.

– Вы разбираетесь в виски?

– Нет, – признался я. – Поэтому и отравился.

– Удивительно интересно, – повторял он после каждого моего сообщения. – Удивительно.

Похоже, его поражало, что где-то, кроме Нью-Йорка, тоже живут люди.

– Тут все меняется, – интересничал я. – Еще недавно не было сигарет и табак продавался на развес. Как-то в очереди местное телевидение взяло у меня интервью.

– Вас узнают на улицах?

– Нет. Они обратились ко мне случайно.

– И что же вы сказали?

– Сказал, что люблю курить. Из искры возгорится пламя.

– Логично.

– Во всем есть смысл, – сказал я. – Женщины отдаются за пачку сигарет, – я привел несколько случаев из жизни.

– Как у вас хорошо, – воскликнул Бродский.

- Еще как, – ответил я. – Никакой Нобелевской премии не надо.
- Вам, может быть, и не надо, – согласился он. – Вам вообще ничего не надо.
- В этом и есть суть свободы...

Я в те времена к премиям относился с интересом и даже уважением. В начале 90-х Нобелевская премия считалась пропуском в бессмертие. Пропускная система сломалась. Бессмертия больше нет.

– Здесь воняет горячая вода. Не знаю чем. Карбидом, что ли, – пустился я в недавние воспоминания. – Мне это тоже нравится.

Когда мы сюда переехали, до получения квартиры жили в гостинице. Там я научился печатать на печатной машинке, сочинил несколько приличных стихотворений. Мне этот гадкий запах напоминает о творчестве. Как нюхну – спешу к мольберту.

– Это такой у вас юмор?

– Я романтик, Иосиф Александрович. Идеалист. Последний герой. Недавно шел мимо цирка и запнулся о пьяного молодого человека, какающего на тротуаре. Было темно. Ничего не видно. Я наступил в говно.

Бродскому история понравилась, и он залиvisto рассмеялся.

– И что дальше?

– Ничего. Их было человек пять. Остальные ждали, когда он испражнится. С подростками связываться не стоит. Я вытер ботинок о снег и пошел домой. Не такой уж я безумец, как может показаться.

Сейчас бы я сдулся. Расстроился бы, уехал. В молодости всё – в радость. Шел по рынку. Внезапно прилетело яблоко – прямо в глаз. Больно, обидно. В кармане – пистолет, а в кого стрелять – не знаешь. Такие вещи утомляют.

Вскоре запах водопроводной воды сделался нормальным. «Фанни и Александр» показались тягомотиной. Литераторы, особенно маститые, меня хвалили, печатали в местном литературном журнале, но этого мне было мало. С ровесниками отношения были натянутыми. То ли они не понимали, чем я занимаюсь, то ли ревновали. Человек не виноват ни в таланте своем, ни в бездарности. Редко кто может оценить себя со стороны.

К торопливому сусальному акценту местного населения я привык. Ко внешности женщин никак не мог приноровиться. Русые волосы, широкая кость, короткие ноги. Многие из них были добры и обаятельны, но ведь в молодости ищешь другого. Если твой идеал женщины – Жюльет Бинош, ты попал не по адресу. Я мог часами бродить по городу и стрелять глазами по сторонам – безрезультатно. Сердце мое оставалось холодным. Бродский предпочитал блондинок. Ему бы здесь понравилось.

Сибирь – место кочевое, подвижное. С долей условности ее можно сравнить с Новым Светом, сплошь состоящим из мигрантов. Кого у нас там только не было... Я учился в немецкой школе вместе с поляками, латышами, евреями, греками, армянами. В городе был представлен весь евразийский интернационал. На Урале люди пустили корни с неандертальских времен. Приобрели уникальный уклад и внешность. Стоячая вода. Лежалые камни. Западно-Сибирская низменность на брюнеток богаче. Однако я верил, что и в здешних горах найдутся Пенелопа Крус и Жюльет Бинош. Я культивировал в себе оптимизм. Неброский такой, беспарфосный, но все-таки – оптимизм. Поэтому я нашел изысканную брюнетку и полюбил ее. Она настояла, чтобы я начал публиковаться в Москве и познакомился с Иосифом Бродским. Она знала мои стихи и читала многие из них наизусть. Пела старинные романсы по вечерам и говорила, по моде той поры, что принадлежит к аристократическому роду.

- Вы до сих пор с этой черненькой девушкой? – спросил Иосиф Александрович.
- А чё мельтешить?
- Какое похвальное постоянство, – сказал он с издевкой.



– Я моногамен, как беркут, – незамедлительно ответил я. – Можно иметь всех женщин на свете, а можно только одну. Если взять правильную точку отсчета, это – тождественные вещи.

Я закрыл окно на кухне, потому что замерз. Сигареты кончились. Где-то неподалеку стучал трамвай. Подвывали на морозе бездомные собаки.

– Неважно, кто ты есть, – заключил я. – Важно, кем ты себя ощущаешь.

– Ну это вы загнули.

– Я действительно до сих пор с той же дамой, с которой приезжал к вам в Библиотеку Конгресса.

– Я ж не против, – рассмеялся тот. – Просто спросил.

Год назад мы были у Бродского в Вашингтоне, когда он служил тамошнему государству в качестве поэта-лауреата. Ксения теперь поселилась в Штатах, работала в провинции, в одном научно-исследовательском институте. Я прилетал к ней в гости в Южную Каролину, после чего мы навестили поэта в столице. Встреча имела смысл. До этого Бродский на удивление хорошо отзывался о моих стихах. Сказал, что завидует тому, как они написаны, но еще больше – внутренней жизни, которая за ними стоит.

За своей внутренней жизнью я уследить не мог, так же как за работой почек или печени. Я считал, что иметь какую-то особенную внутреннюю жизнь неприлично. Роскошь. Излишество. Я был уверен, что самые интересные вещи берутся ниоткуда. Из черной дыры. Из коллективного бессознательного. Из ноосферы. Суть в том, что – извне. Не из меня, а откуда-то снаружи. Такая позиция казалась мне наиболее конструктивной, лишенной сосредоточенности на себе. Поэзия – избавление от эгоизма. Мы должны раствориться: в языке, в водке, в холодном воздухе.

С этими благими мыслями я сел писать письмо Ельцину. Мне было что ему сказать. Начал по законам жанра:

«Как гражданин, писатель и просто как человек...»

## Ельцин

Ельцин ответил через две недели. Я удивился. Либо письмо завалилось в почте, либо президент был в отъезде. За графиком его работы я не следил. Его крупное лицо в самый ненужный момент появлялось на телеэкране, голос пробивался сквозь помехи радиоэфира, улица комментировала каждое его слово. Спрятаться от демократии в его лице было невозможно. Он заполнил собой виртуальное пространство, проник в душу, которая в эти годы перестала быть бессмертной.

Наше общение началось в 89-м, когда опальный политик выдвинулся в народные депутаты. Его избрания больше всего жаждали на Урале. Свердловском он руководил лет десять, проложил асфальт куда-то на север, переселил людей из одних бараков в другие, обеспечил горожан курятиной и молоком. Его за это любили.

Ельцин согласился баллотироваться, и народ начал предвыборную агитацию. Противостоял ему мой отец, ученый-физик, академик. Влюбленный в Ельцина народ уделал интеллигента по полной. Очкариков не любят. Тем более, если очкарик – не из местных. Бате припомнили, что его отец сидел по 58-й статье за контрреволюционную деятельность. Нашли родственника, который был близок к партийной верхушке и питался сосисками из спецраспределителя. По городу распространялся слух, что моя мать еврейка, но при этом сам академик – записной антисемит. В ход шли подметные письма с угрозами, телефонные звонки с требованием выметаться с Урала. Вспомнили старые обиды коллеги по научному цеху. Все, кому академик перешел дорогу, включились в борьбу. Все, кому он помог, включились в борьбу с еще бо́льшим остервенением. Человека, оказавшего тебе услугу, нормальные люди не прощают.

На предвыборных выступлениях отца преследовали комиссары от оппозиции. Пролетарии умственного труда в рваных свитерах задавали ему каверзные вопросы и улюлюкали на галерке. Рабочий класс безмолвствовал, но Ельцин из деревни Бутки Свердловской области был ему ближе.

Мне он тоже был вполне понятен. На его примере я узнал, что такое «воля к власти». Она связана с безотчетной злобой и затуманенной головой. Супермен Ницше отступает перед образом уральского бунтаря. Ельцин мочился на шасси самолетов, падал с мостов с букетами цветов, отвечал несуразностями философу Зиновьеву<sup>1</sup> на французском телевидении, блевал на кафедрах американских университетов. Харизма. Брутальность. Непредсказуемость. Такое не может не нравиться.

Мы с приятелями по ночам развешивали предвыборные плакаты с портретами моего академика на фонарных столбах, набрызгивали аэрозолем на стенах слова агитации. К утру листовки были перепачканы дерьмом, граффити замазаны краской. Уральские горцы выкалывали моему отцу глаза, пририсовывали рога и бороду. На митингах у реки Исети я узнавал много нового про себя и свою семью. Я стоял в толпе неформалов и вглядывался в лица. Я чувствовал себя барчуком на конюшне. Я стыдился себя. Я не гармонировал с трудовой средой. Они вместе с их вождем проявляли свою природу. А я представлял собой производителя жалких безделиц под названием «стихи» и «проза». Природе эти вещи если не противны, то фиолетовы. Против природы не попрешь.

Счастливое стечение обстоятельств помогло моему академику выйти из игры и не ссать против ветра. С президентом они теперь поддерживали рабочие отношения. Ельцин оставался подозрителен. Он был одинаково подозрителен ко всем окружающим и не окружающим его людям.

---

<sup>1</sup> Александр Зиновьев (1922–2006) – русский философ, писатель, социолог, публицист.

## Разговор с языческим богом

– Алло, это поэт Месяц? – спросил он голосом, медленным как тормозная магнитная пленка. – Ельцин на проводе.

– Здравствуйте, Борис Николаевич, – опешил я. – Спасибо, что позвонили. Признаться, не ожидал.

– Я получил ваше письмо, – сообщил он грозным голосом. – Вы пишете херню. Россияне меня любят. Ельцину сегодня альтернативы нет.

– Еще как любят, – поспешил я с ответом. – Души не чают. Готовы за вас в огонь и воду.

– Ну и зачем тогда вы пишете херню? – спросил он с прежней мрачностью. – Россия никогда не вернется в прошлое. Россия теперь будет двигаться только вперед. Я долго и мучительно над этим размышлял. Только вперед.

– Обратной дороги нет, – согласился я. – Вы правы, Борис Николаевич. Проблема в том, что все проходит. Лет через десять они вас проклянут. Забудут дорогу к могиле. Сотрут из памяти великие дела. В учебниках имя Ельцина будет перечисляться через запятую после Бурбулиса<sup>2</sup> и Гайдара<sup>3</sup>. Академику Сахарову будут стоять памятники по всей стране. И Горбачеву тоже.

Ельцин издал вздох, переходящий в утробное рычание.

– Почему это? Я – первый демократически избранный президент этой страны.

– Историю пишет интеллигенция, – поспешил я с ответом. – Фарисеи и книжники. Пока вы работаете с ними в связке, они вас любят. Отважитесь на самостоятельный шаг – проклянут. Это серьезная опасность для любого правителя.

– Я хотел, чтобы людям жилось лучше, – прогрохотал президент. – Другой задачи у меня не было и нет. Панимаешь? Что конкретно вы предлагаете?

– Я же написал. Я могу увековечить ваш образ в нетленных произведениях. Зарифмую ваши реформы, напишу про них саги.

Ельцин тяжело замолчал. Его молчание было красноречивей любых слов. Пауза длилась секунд тридцать. На моем лбу несколько раз выступила и высохла испарина.

– Саги, говорите? Вы умеете сочинять саги? – Похоже, он осмыслял перспективу саг или вспоминал, что означает это слово.

– Еще как, Борис Николаевич! Саги о Форсайтах!<sup>4</sup>

Ельцин услышал знакомый оборот речи и удовлетворенно рыгнул.

– Хорошо. Увековечьте. В долгу не останусь.

Его слова падали, словно младенцы в колодезь. При их падении тебя охватывал ужас безвозвратности. Когда ребенок скрывался под водой, хотелось прыгнуть за ним следом.

Я заручился поддержкой президента в обмен на мемориал, который мог бы ему воздвигнуть. Впоследствии я посвятил ему поэму «Плач по рэкетиру», но после расстрела парламента танками посвящение снял.

– Поэт Еременко<sup>5</sup> ваш друг? – спросил Ельцин неожиданно.

---

<sup>2</sup> Геннадий Бурбулис (1945) – советский и российский государственный и политический деятель. Один из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства.

<sup>3</sup> Егор Тимурович Гайдар (1956–2009) – российский либерал-реформатор, государственный и политический деятель, экономист, доктор экономических наук.

<sup>4</sup> «Сага о Форсайтах» – монументальная серия разноплановых произведений английского писателя Джона Голсуорси, описывает жизнь состоятельной семьи Форсайтов. В данном случае употребляется как устойчивый оборот речи.

<sup>5</sup> Александр Ерёмченко (1950) – российский поэт. В середине восьмидесятых вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу «метаметафористов».

– Да, Борис Николаевич, он новатор, авангардист. Поэты любят его так же, как вас любят рабочие и колхозники.

Я почувствовал, что Ельцин на другом конце провода улыбнулся. Шатко расставляя слова, он продекламировал:

*Вчера опять я был в Политбюро  
и выяснил, как Ельцина снимали:  
все собрались в Георгиевском зале,  
шел сильный газ, и многих развезло<sup>6</sup>*

– Мне нравятся эти стихи, – сказал Ельцин.

– Да, они правдивы, – подхватил я. – Поэты обладают даром предвиденья.

*Вопрос неясен, но предельно прост.  
Наш путь вперед да будет кровью полит!  
Нас надо всех немедленно уволить,  
чтобы я занял самый главный пост*

Вот видите, Борис Николаевич, Еременко оказался прав. Вы стали президентом Российской Федерации, почти царем.

Я взялся рассказывать о поэзии Еременко и кришнаитстве Андрея Козлова, которому были посвящены эти четверостишия, но Ельцин дал понять, что разговор подходит к концу.

– Значит, уезжаете в Америку? Такая загогулина получается? К Бродскому под крыло, значит?

– Такая загогулина, Борис Николаевич. Я ведь как думаю? Мир глобализуется. Истории больше нет. Осталась лишь демократия. Одна мировая держава на весь глобус. И столица этой державы где? В Нью-Йорке, Борис Николаевич. Конечно, в Нью-Йорке. Вот я и еду в столицу мира, как Ломоносов, чтобы покорить ее во славу нашей с вами России.

– Похвально, Вадим Геннадьевич, – завершил Ельцин. – Буду ждать результатов. Попрошу пока что группу «НА-НА» написать песню для Фаины Иосифовны.

Николай I покровительствовал Пушкину. Вызволил его из ссылки, поручил писать историю Петра Великого. Царь был искренним поклонником поэта и не обращал внимания на доносы клеветников. Сталин позвонил Булгакову и устроил разжалованного писателя в Художественный театр, вернув в репертуар пьесу «Дни Турбиных».

Бродский писал Брежневу дважды. Первое письмо было нравственным актом. Он считал, что талант должен бороться за справедливость, и выступил за отмену смертной казни Кузнецову и Дымшицу за попытку угона самолета. Письмо отправлено не было, но изменения в «тонких мирах» произошли. Расстрел диссидентам заменили на длительный срок заключения. «Прощальное» письмо Бродский отправил из Вены. В нем он сообщал, что и он и Брежнев умрут, а люди будут судить по делам их. Он просил оставить ему место в русской литературе и позаботиться о родителях. Я тоже попросил позаботиться о родителях и об Академии наук. Ельцин оказался человеком слова. Академию, в отличие от последующих правителей, не трогал. Сделал ее главой человека с Урала – и на том успокоился. В литературный процесс он вообще не встревал. Он строил государство без идеологии – литература в нем вещь побочная.

Мне было легче, чем Бродскому. За место в литературе я не волновался. Литературу в ее нынешнем виде не принимал всерьез. Я вообще мало что принимал всерьез, благодаря чему неплохо сохранился на шестом десятке. Ельцину я писал о державе, о военно-промыш-

---

<sup>6</sup> *Вчера опять я был в Политбюро...* – цитата из «Дружеского послания Андрею Козлову...» Александра Еременко (1987).

ленном комплексе и о поэзии, которую тоже считал частью милитаристской машины. Поэзия должна вести в бой. В древности она вообще несла государствообразующую функцию. Гомер приукрасил историю покорения Трои. Практически выдумал. Об этом в древности говорил Дион Хрисостом<sup>7</sup>, а в современности – академик Гаспаров, который, кстати, хвалил мои вирши. Академик писал: «Можно быть уверенным, что если бы Гомер не выиграл троянскую войну в стихах, греки не выиграли бы войну с персами в действительности». Раскопки показали, что во времена легендарной войны Илион был заштатным городком, а бастионом стал лишь к 1700–1250 годам до н. э. Слепой певец выполнил политический заказ древнегреческого народа, стал первым в мире фальсификатором истории. Поэзия победила правду. Европоцентризм, предложенный поэтом, привел к тому, что теперь европейская история является историей мира по преимуществу, тогда как наша – второстепенна.

Если врать, то по-крупному. На века. Такая поэзия была мне по душе.

Я просил Бориса Николаевича возродить империю, за которую пролиты тонны русской крови. Сделать это быстро и неожиданно, как когда-то большевики.

На всенародную славу я не надеялся. Времена пришли либеральные. В условиях равенства и низкого кросс-культурного контекста поэт получил по заслугам. На роль горлопана-главаря более не претендовал. Вещи стали называться своими именами.

Скрытая речь и жизнь по понятиям уходили в прошлое. Тайна исчезла. Молодежь начала культивировать этот невзрачный образ, находя в нем социальный смысл. Я не видел смысла в скромности. Талант и скромность – вещи несовместные. Бродскому о содержании послания сообщать не стал, хотя он и сказал когда-то, что «справедливость важнее, чем все эти Пушкины и Набоковы». Я понимал, что мы – очень разные люди.

Чтобы не полагаться на случай, письмо я отправил через матушку Ельцина – Клавдию Ивановну, которая проживала неподалеку, на улице Бажова. У нас с ней были общие знакомые. Зашел в гости, представился, был обласкан и угощен чаем. Письмо сыну Борису она отправила факсом. Они как раз в ту пору входили в моду.

---

<sup>7</sup> Дион Хризостом (I в. н. э.) – древнеримский (греческого происхождения) оратор, писатель, философ и историк.

## Майя

Яркий морозный полдень. Воскресенье. «Я пришел к поэту в гости». Город пуст и скрипуч. Я несу Майе Никулиной новые стихи. Она благоволит моим сочинениям, дает редкие, но нужные советы. Мы встречаемся несколько раз в неделю. Я пишу много и легко. Мы познакомились прошлой весной через редакцию журнала «Урал».

– Если Никулина даст добро – возьмем, – сказал заведующий отделом поэзии, будучи уверенным в том, что Майя стихи отклонит.

Ей стихи понравились. Она увидела в них веселую свободу и бравую походку. Сказала, что мое разгильдяйство в литературе похоже на пушкинское, что для меня вряд ли комплимент. Особую роль здесь сыграли школьная программа по литературе, портреты маслом и глубокомысленные памятники по городам и весям.

В первый раз мы встретились с Майей Петровной в фойе библиотеки Белинского. Она уже прочитала мои тексты и отобрала несколько стихотворений для публикации. Я был не против ее выбора.

– А это не понравилось? – спросил я.

– А что тут такого?

– «Она подороже, чем золотой муравей, и покруглей, чем мохнатый болотный шар» – сдвинутая метафора про луну, вполне шальная.

– Ты к тому же понимаешь, что пишешь? – удивилась она.

Я не знал, что ответить. Что-то понимал, чего-то не понимал. Несмотря на беспечность, я был внимательным человеком. Прислушивался, присматривался. По жизни разыгрывал обаятельного дурака. Что-то привело меня именно к этому образу поведения. Я не перебарщивал, но простодушие изображал вполне искренне. Обнаружил однажды, что так жить проще. Старался идти по пути наименьшего сопротивления. Двигаться в потоке жизни. Решения принимать лишь тогда, когда этого требует ситуация. Ситуация этого требует редко.

Сегодня хороший день. Это ощущается сразу после пробуждения. Я просыпаюсь и знаю: все будет тип-топ. В такие дни можно переходить улицу с закрытыми глазами на красный свет. Пить неразбавленный спирт, одеколон или бутираль фенольный клей. Можно знакомиться с самыми роскошными женщинами, даже если они при кавалерах. Когда со мной происходили беды, я с утра чувствовал неуверенность и беспокойство. В сторону культуры от природы я ушел недалеко, хотя иная картинная галерея мне намного интересней зоопарка.

Я пересекаю улицу Ленина с прогулочной разделительной аллеей посередине и прохожу мимо бывшего магазина «Пуговицы». Теперь здесь обосновались кооператоры. Продают колбасу. Пуговицы были мне милее. Я скупал их в ассортименте. Красными украшал собственные пиджаки. Огромные желтые и зеленые незаметно пришивал на шторы, когда приходил к кому-нибудь в гости.

Город стал мне родным быстро. Он полюбил меня, и я в ответ незамедлительно полюбил его. Если какая-то обида и разочарование случались, то быстро выветривались из головы. Сейчас я переполнен лишь светлыми воспоминаниями.

Когда ты движешься не оглядываясь, ты вряд ли кого-то предаешь. У тебя нет времени думать о предательстве. Те, кто остаются, видят твое движение и начинают подозревать во всех грехах мира. Уловок, чтобы остановить человека, много. Можно осудить его честолюбивый порыв, призвав к смирению и скромности. Можно доказать, что впереди его ничего не ждет. Счастье только здесь, в кругу друзей, на прокуренной кухне. Человек способен на время остановиться и не спешить, но если он почувствовал радость движения – рано или поздно сорвется с места.



В Екатеринбурге у меня было несколько реперных точек. Магазин «Букинист», где я менял Джеймса Чейза на Альбера Камю.

Ивановское кладбище, где я пил портвейн на безымянных могилах. Дом культуры автомобилистов, где показывали элитарное кино, а автомобилистами и не пахло. Институт электрофизики, куда я ходил на службу. Кинотеатр «Буревестник» – около него жила моя тогдашняя любовь. Ну и улица Декабристов, где в те времена обретались Майя Петровна Никулина и Константин Николаевич Мамаев.

Дверь открыла Майина дочь Маша и невнятно поздоровалась. Она не любила поэтов, досаждающих ее матери. Никулина выпорхнула из кухни.

– До сих пор помню, как ты вошел в редакцию. Ты вошел – и они сразу встали. Невероятно. Я такого никогда не видела, – запричитала она.

Майя славилась тем, что сквозь ее небольшое, исхудавшее тело просвечивала душа. Сегодня она тоже вся светилась.

– Что принес, Димочка?

– Чаю пришел попить.

– Вот и давай попьем чаю, – весело продолжила Майя и рассказала, какой чай она пила в Крыму, когда тот еще был российской территорией.

В молодости у поэта должен быть наставник. Человек, который в тебя верит. Технические вопросы по стихосложению во многом я мог решать самостоятельно, но обрести уверенность в себе способны помочь только другие люди. Со стороны я выглядел самодостаточным и даже нахальным, но в привычку это еще не вошло. Мне было нужно, чтобы меня хвалили. Майя Петровна и Константин Николаевич на комплименты не скупились. То ли видели во мне надежду русской литературы, то ли хотели скрасить свое одиночество.

– Ходил утром в кино, – сказал я Майе Петровне. – На американское. Про индейца-спортсмена, который бежал по жизни. Его резервация разорилась, друзья спились, но он стал бегать еще быстрее. Победил в национальном марафонском забеге.

– Такое кино тебе должно нравиться, – сказала Майя. – Ты похож на индейца, Димочка. Эта похвала была для меня выше признания литературных заслуг.

Майя объяснила мне свои поэтические приоритеты, и я им внял. Плотность письма, выверенный объем текста, органичность метафор. Особенное внимание она обращала на фонетику, на дружбу звуков «эс» и «че». На смачность звучания, которая отсутствует порой даже у великих. По сравнению со звукорядами, которыми в те времена баловалась молодежь, это высший пилотаж. Бродский, к примеру, понятия об этом не имел, хотя в бетховенской глухоте тоже есть свои плюсы.

Подборку его стихотворений я увидел впервые в журнале «Огонек» – и скривился. В поэзии я искал живой, искрящейся фактуры. Выхода за пределы бытового сознания. Здесь таких задач не ставилось. Единственный урок, который я извлек из чтения, – это то, что писать можно по-разному. Нужно настаивать на своей правоте – и всё. Постепенно я привык к этим отстраненным интонациям, где скепсис мешается с горечью, но свет в конце туннеля все-таки брезжит. Привык к этим интонациям и полюбил их. Написал несколько стихотворений, подражая американскому изгнаннику. Это произошло до нашего знакомства.

Впоследствии я обращался к Бродскому, как к немногим людям, способным врубиться в то, что пишу я. В ту пору главным препятствием я считал проблемы совкового восприятия. Мои старшие друзья рассуждали в том же ключе. Майя считала большевиков и продавшихся им москалей ответственными за дурновкусие. Пролетариат и крестьянство, по ее мнению, для высокой поэзии не предназначены. Я, в силу сибирского происхождения, в сословных различиях не разбирался. По терминологии той эпохи относился к «рабочей интеллигенции». Солженицыну я благодарен за введение в обиход слова «образованец». За остальное – не очень.

Бродский тоже выбрал свой стиль как сугубо антисоветский. Переехал на постоянное место жительства в сугубо антисоветскую державу. Я потянулся вслед за ним – чисто стилистически. Откуда мне было знать, что всё не так просто? В аспирантуре подобным вещам не учат.

*По пристанищам длинным гурьбой сдвигая кули —  
на холмогих горбах синева мукомольного дыма.  
И в разбитое русло прохладно идут корабли  
на российский порог исполинского берега мимо.*

*В померанцевом сумраке мягких ночных колымаг,  
где углы истекают глухою ореховой смолкой,  
на точеном стекле уместается весь зодиак,  
навсегда заворобженный вашей державною челкой...*

Прилежное чтение воспоминаний Теофиля Готье о России<sup>8</sup> и «Философических писем» Чаадаева привело к написанию довольно длинного текста про Екатерину Великую. Монархизма во мне не было ни на грош, но державность в брусчатке уральской столицы я почувствовал. Грубая красота убедительней акварельной.

*Вы слабы и роскошны, как зимний в дурмане цветник,  
только властное сердце приучено к мерному стуку:  
и трепещет во сне изувера хмельного кадык,  
и германец не смеет разинуть щербатую скуку.*

*Так и должно вершить тишиной повороты ключей,  
если глушь постоянства раскинута далью рябою.  
И по черному голубю грубо равнять лошадей,  
наезжая в спокойную стужу кулачного боя.*

*Так и должно хранить безучастного Севера рост,  
если призрак державы в нас горькой отчизною брошен.  
И не ведать упрека на зыбком распутии звезд,  
где молитвенный путь, как и каменный дом, невозможен.<sup>9</sup>*

– Хорошая вещьца, – сказала Майя Петровна. – Фактурная. Щегольская. Антикварная. Только слишком много пижонских слов. Ты в курсе, что Екатеринбург назван в честь другой Екатерины?

Я был в курсе, но из вежливости попросил рассказать и об этом. Вещественный мир того времени, как и описывающий его словарь, был скуден. Окружающую нас серость хотелось раскрасить, пустоты – заполнить, если не дорогой мебелью и бархатными шторами, то хотя бы словами. Борьба с действительностью может проходить в разных формах. Я включился в такой вот эстетский бунт.

*И опричную кровью летящих на твой камелек,  
вечной памятью каждой отчаянно райской дороги,*

---

<sup>8</sup> ...воспоминаний Теофиля Готье о России... – имеется в виду книга Теофиля Готье «Путешествие в Россию» (1876).

<sup>9</sup> По пристанищам длинным гурьбой сдвигая кули... – цитата из стихотворения «Английская набережная» Вадима Месяца.

*мне мерещится верность ласкающих рыжий чулок  
и самой Катарины больные солдатские ноги.*

– Круто. Ничего не скажешь. Лирические стихи тебе тоже удаются. И песни удаются. И рассказы. Этим многообразием ты сбиваешь публику с толку. Люди обычно умеют делать что-то одно. Читатели к этому привыкают и ждут от автора того, что уже опробовали.

– Надо путать следы, – отозвался я. – Наша задача – обмануть смерть, а не какого-то воображаемого читателя. И потом, писать одно и то же неинтересно.

В действительности мою разножанровость можно было объяснить неусидчивостью и отсутствием царя в голове. Стихов своих, кроме песен, я не помнил. Чужие тоже знал плохо. Бродский заучивал чужие тексты наизусть и становился духовно богаче. Мне забивать голову не хотелось. Для творческой деятельности ты должен быть пуст, как барабан. Природа не терпит пустоты и обязательно подбросит что-нибудь в опустошенный мозг.

– Боюсь я за тебя, Димочка, – сказала вдруг Майя. – Люди такого не прощают.

– Какого, Майя Петровна?

– Таланта не прощают. Очарования не прощают. То, что твой отец всемирная величина, – полбеды. Об этом они могут и забыть. А вот легкости твоей не простят. Вспомнишь ты еще мои слова.

Психология была для меня недостижимой наукой. Беззаботные люди, делающие игрушки собственной судьбу, мне нравились.

Люди играют, но и бог играет тоже, что бы ни говорили об этом благочестивые христиане. Откуда я знал, что нет ничего оскорбительней для людей, чем чужое счастье?

«Что же мне делать, певцу и первенцу, / В мире, где наичернейший – сер»<sup>10</sup>? – вопрошал я пустоту. Сравнивал свои тексты с публикациями других авторов и негодовал. Поэзия ходила на деревянных ногах и разговаривала железным голосом. Мое добрососедство с ней казалось невероятным.

Когда я сообщил Майе, что собираюсь отдать стихи в московский журнал, встретил взгляд, полный недоверия и ужаса. Москва в ее понимании была продажной, нерусской и бездарной.

– Может быть, тебе и можно, – сказала она. – Но я бы не торопилась.

– А почему остальным нельзя?

Ответа на этот вопрос я так и не получил.

---

<sup>10</sup> Что же мне делать, певцу и первенцу... – цитата из цикла «Поэты» Марины Цветаевой (1923).

## Москали

Пасмурным осенним днем я зашел в редакцию журнала «Новый мир» в клетчатой кепке и кожаном плаще. Передал секретарю довольно увесистую папку. Встретили меня вежливо. К посетителям привыкли. Пусть даже они в клетчатых кепках. На обратном пути по улице Горького меня сфотографировал какой-то человек и сказал, что может выслать снимки налоговым платежом. Я догадывался, что беру кота в мешке, но в честь судьбоносного дня оставил ему домашний адрес. Отец к тому времени получил квартиру в академическом доме на Ленинском проспекте. Мебели в ней было мало, но мне это было по душе: гулкость акустики и обилие пустых пространств. Временами я жил там один или в компании друзей нелитературного содержания.

Через месяц пришел в редакцию, в Малый Путинковский, в том же плаще и кепке.

– Ну как? – спросил я с порога. – Стихи мои, поди, и не читали. Очередь большая у вас. Конкуренция.

Секретарь диковато посмотрела на меня и проводила в отдел поэзии. За столом восседала дама неопределенного возраста и внешности. Я представил себе ее творческий путь и сексуальный опыт. Закрутить роман с провинциальным самородком было бы ее спасением. Она либо не догадывалась об этом, либо не осознавала бедственности своего положения. Я не стал торопить ее. Ярко-рыжая копна крашенных волос говорила мне о несовместимости наших эстетических пристрастий.

Женщина развязала веревки на канцелярской папке, перебрала неухоженными пальцами несколько страниц. Я заметил, что стихи лежали в прежнем, нетронутом порядке, и остался доволен правотой своего предположения.

– Вы военный? – спросила она неожиданно.

– Почему вы так решили? Слишком короткая стрижка?

Она подняла глаза, и я понял, что только сейчас впервые удостоился ее взгляда. Из вежливости я снял кепку и смял ее в руках.

– Стихотворение «Артиллерийское училище». Вы артиллерист?

– Это про Бонапарта в юности, – ответил я, стремительно осознав, с каким явлением природы столкнулся.

Редакторша округлила глаза.

– Про кого?

– Про Наполеона Бонапарта в юности, – повторил я. – Родился на Корсике, участвовал в освободительном движении, стал императором французов и даже спалил Москву. Ему подражали многие прогрессивные люди в девятнадцатом веке.

– Сейчас уже двадцатый век, – резонно отвечала дама. – Какая странная у вас тематика: Ипатьевский дом. Английская набережная. Диктатор Наполеон.

– Это не мешает многим ему подражать, – бормотал я, когда дверь редакции захлопнулась.

Мне отказали даже без намека на деликатность. Не ссылаясь на большую очередь и конкуренцию. Мне отказали в духе «да как вы смеете?». Бродский после того, как его завернули в «Звезде», швырнул в окно редакции чернильную бомбочку. Я оказался сдержанней. Да и дела мои были не столь плохи.

Меня напечатали в журналах «Урал», «Студенческий меридиан» и «Юность». Я размножил подборки на ксероксе и раздарил их друзьям. Удовлетворения не испытал. Мне надо было «много женщин и машин». Фанфар, литавр и барабанов. Я хотел бегать за мулатками в купальниках по берегу океана.

– Неужели вы не знаете, что слово «Таллинн» пишется теперь через два «н»? – высокомерно спросил меня главред поэзии журнала «Юность» Натан Злотников.

В стране началась перестройка. Натан Маркович шел в ногу со временем и прощать политической близорукости не собирался.

– Это стилизация под Северянина, – придумал я. – В те времена Таллин писался через одну «н».

– В те времена этот город назывался Ревель.

Жизнь меня баловала, периодика печатала. За публикации я порой получал деньги, но они были не в радость. Я понимал, что способен на что-то большее. Сочинять стихи я научился довольно быстро. Писал не хуже прочих, но поэзия была для меня чем-то отличным от литературы. Насобачиться рифмовать высокие и низкие чувства нетрудно. Я чувствовал, что имею иное предназначение. Я должен был преподать человечеству какой-то уникальный урок на примере собственной жизни. Как человек-амфибия, маугли или робинзон крузо.

Появление в моей жизни Бродского вселяло надежды. Он жил в Нью-Йорке, дышал воздухом побережья. Мне хотелось изменить атмосферу существования. Сочинение стихов приносило мне хорошее настроение, но со словесностью будущего я пока что не связывал.

## Пара гнедых, запряженных зарею

Ксения Иосифовна была моей учительницей английского в аспирантуре. Готовила аспирантов для сдачи кандидатского минимума. Из Института электрофизики, где я тогда служил, к ней ходили двое. Я и мой старинный друг Серега Баренголец. Учились мы не так прилежно, как надо бы. Не готовили уроков, прогуливали занятия. У обоих первым иностранным был немецкий. С таким бэкграундом англифицироваться трудно. Ксения старалась. Читала пособия. Разыгрывала сценки. Загадывала загадки. Рассказывала анекдоты на английском. Всею группой мы пели «I just call to say I love you» и «Come with me to Pasadena». Творческий, искрометный человек. Нечто из русской провинциальной классики. Персонаж Лескова, Чехова или даже Островского. Она была одна такая на весь город. Вечерами садилась за рояль в своей панельной двушке, пела старинные романсы Петра Лещенко и Вадима Козина. Я слушал ее пение по телефону. Меня это завораживало, хотя любой музыке я предпочитал «Кинг Кримсон».

У Ксении была дочь Александра, с которой она меня познакомила, когда я прогуливался по центральной улице. Девочке было лет десять, когда она дала мне исчерпывающую характеристику:

– Умный, но всего боится, – сказала она после встречи и нескольких кварталов совместной прогулки.

Формулировка вряд ли соответствовала действительности, но запомнилась.

Сашенька звала мать по-простому – Сюсей. В детстве были проблемы с дикцией. Мне сюсюкать не нравилось. На кафедре иностранных языков Сюся была Ксенией Иосифовной Гембицкой.

Ксения обладала магическим даром, но старалась его не использовать. Сглаз и приворот происходили сами собой. Она невольно насылала на обидчиков болезни и проблемы. Находясь в поле ее магии, я и сам чему-то учился. Это было важнее английского. Мать Ксюши провела младенчество в таборе, для умиления публики ее носили в корзине по ярмаркам. Память цыганской крови передалась и мне. Я начал сочинять цыганские песни и петь уже существующие. «Так начинаются цыгане. Так начинают жить стихом»<sup>11</sup>.

Уверен, что меня она не привораживала. Я искал жгучую брюнетку – и нашел ее. Роман развивался загадочно и плавно. На экзамене по английскому она дала нам с Баренгольцем списать задание по переводу. Мы старательно переписали технический текст, положили написанное ей на стол и убежали в ларек за цветами. Цветов купили много. Ксюша неподдельно обрадовалась. Тогда я стал звонить ей по телефону и грузить потоком сознания. Несколько раз проводил до дома и распрощался у подъезда. Предложил сходить в театр на «В ожидании Годо», но билетов так и не купил. Все ждут Годо. Пускай Годо подождет нас. Будучи в командировке в Уфе, написал письмо, которое закончил тем, что нам пора перейти на «ты».

Когда вернулся, был приглашен в гости.

– Я замужем, но все это скоро улажу, – прошептала она, когда я поцеловал ее и уложил в постель, в ее квартире на улице Баграмяна.

Утром пришел ее отец. Ксения узнала стук дверцы его автомобиля. Я с хохотом выбежал в коридор и поднялся с вещами в обнимку на верхний этаж, чтобы спуститься на лифте, когда ее отец войдет в дом. Начало наших отношений получилось романтическим. Вообще, те времена предполагали гораздо больше сентиментальностей, чем нынешние.

Считалось, что писать стихи – вполне себе занятие для взрослого человека. Я никак не мог свыкнуться с этой мыслью. То есть, я сочиняю стишата, а на гонорары покупаю дачи и

---

<sup>11</sup> Так начинаются цыгане... – неточная цитата из стихотворения «Так начинают. Года в два...» Бориса Пастернака (1921).



яхты? Здравый смысл подсказывал, что этого быть не может. Союз писателей еще существовал, в журналах за поэзию платили неплохие деньги. За первую книгу в умирающем «Советском писателе» я получил десять тысяч рублей. Общество по причине архаичности еще верило в силу поэтического слова. Я, как его носитель, знал, что *poetry makes nothing happen*<sup>12</sup>. Начинать жизнь с такого посыла лучше, чем верить в свою богоданность. Талант в землю я зарывать не собирался, но и носиться с ним как с писаной торбой не хотел. Тем не менее на вопрос, чем я занимаюсь, с вызовом отвечал: «Пишу стихи». Академик Гапонов-Грехов в Нижнем Новгороде во время нашего с отцом к нему визита усомнился в моих способностях.

– Это трудное дело, молодой человек, – сказал он.

– Это легкое дело, пожилой человек, – ответил я.

Через пару месяцев прислал ему подборку стихотворений, которая начиналась стихами по его историческим рассказам. «Императрица и ее гости на Волге». О путешествии Екатерины Великой по главной русской реке вместе с иноземными послами. «Мы врезались прямо в стаи рыб, / бьющихся ершистыми боками. / И по палубам дощатый скрип / пробегал крутыми каблучками». Нижегородского академика в своих поэтических способностях я убедил, он взял свои слова обратно.

– Правильно. Пишите стихи, как Бродский, – сказала мне внучка Андрея Сахарова Марина Либерман у раскрытого окна гостиницы «Прага» в цветущий майский день. – Жизнь этого стоит.

Девушка была хороша собой, и я готов был ей поверить. До отъезда в США занимался наукой, хотя коллеги видели, что я нашел себя в другом. Защитил диссертацию по «электронной эмиссии из высокотемпературных сверхпроводников» в родном Томске. Положение между Сибирью и Уралом сменилось жизнью между Екатеринбург и Москвой. Жизнь на два города и даже на две страны долгое время преследовала меня повсюду.

С Ксенией мы тоже вели полукочевой образ жизни. В Москве бывали раза два в месяц. Моим соседом по двору оказался Михаил Векслер, живущий в 13-м доме по Ленинскому. Я был знаком с ним раньше. Он взял на себя обязанности кулинара и маркитанта нашей компании, куда входили старший следователь прокуратуры Андрей Сорока, физик-атмосферщик Андрей Сенаторский, мой друг из Томска Евгений Пельцман и многие непостоянные члены сообщества. Приезды Ксении сопровождалась традиционными ужинами на балконе с шампанским. Мы стреляли пробками в купола церкви Ризоположения и пили за великое будущее.

Нас посещал поэт Еременко и выпивал весь одеколон в доме. Заходил прозаик Владимир Шаров и очаровывал невероятными картинами мироздания. Приезжал мистик Верников, выл маралом и сообщал Ксюше, что он лучше, чем я.

– Тебя окружают злые гномы, – говорила Ксения Иосифовна. – Они будут не только радоваться каждой твоей неудаче. Они будут ее приближать.

– Если я умру, – ерничал я, – тоже обрадуются?

– Если умрешь – расскажут, какими хорошими друзьями они тебе были. И не кривляйся.

В том, что я здесь поселился, было что-то от провидения. Когда-то мой отец в подростковом возрасте приезжал в столицу и останавливался с одноклассниками в школе напротив нашего нынешнего дома. Он был тогда мальчиком из крестьянской семьи. Москва поразила его воображение. Он решил стать знаменитым ученым – и стал им. Я любил теперь стоять на кухне и смотреть, как за окнами школы, в актовом зале, девушки танцуют канкан или кружатся в вальсе с кавалерами.

Я тасился от Москвы. Театры, кооперативные рестораны, первый в России Макдоналдс – не в счет. Я жил в пятистах метрах от Донского монастыря. Здесь с восемнадцати лет я традиционно отмечал свои дни рождения на могиле Петра Яковлевича Чаадаева. Когда-то забрел

<sup>12</sup> *poetry makes nothing happen* – «поэзия ничего не изменяет» (цитата из У.Х.Одена из статьи памяти У.Б. Йейтса).

сюда случайно. Познакомился с продавщицей магазина «Спорттовары» на площади Гагарина и предложил ей прогуляться после работы. Мы разговорились, купили у крематория бутылку кагора в честь моих именин. Искали место, где выпить. Камень со знакомой фамилией около заброшенной часовенки привлек мое внимание. «И на обломках самовластья напишут наши имена!» Теперь на могиле Чаадаева я пил шампанское с Ксенией Иосифовной. Вокруг спало вечным сном русское дворянство. Я чувствовал себя барчуком и немного этого стыдился. От «комплекса совершенства», который включал в себя не только происхождение, но и «невероятную легкость бытия», мне пришлось избавляться всю жизнь.

– О, какие гости! Почему без цветов? – спросила сплетница Леночка, когда я зашел на кафедру иностранных языков под восьмое марта и спросил Гембицкую.

– Беден, – коротко сказал я и, сделав жалобное выражение лица, растворился во тьме коридоров.

Женщины хороши в пору влюбленности, когда они еще не избавились от пустых надежд. В это время им нравится все, что вы делаете. Вы пьете водку – и они смотрят на вас, как на шедевр живописи. Красиво пьют! Вы блюете – и они жалеют вас вслух. Бедный мальчик выпил паленой водки! Вы разговариваете на улице с другом. Они готовы перегрызть ему глотку, поскольку знают, что гусь свинье не товарищ. Если вы здороваетесь с незнакомой дамой, они испепеляют ее взглядом. Потом краски мира блекнут, стихи больше не будоражат душу, водка становится отвратительной, как оно и есть на самом деле. На этом этапе с женщиной следует расстаться и найти другую, чтобы начать всё сначала. Быт – вещь неинтересная, а «мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв».

Лучший критик того времени – Слава Курицын – писал в те годы следующее: «Автор наш, по точному замечанию одного из друзей, – персонаж набоковского романа. Имя – Вадим Месяц – просто в десятку, даже удивительно, почему мы не знаем у Набокова такого героя. Внешность – почти. Важнее другое – образ, что ли... аристократа, хотя я искал другое слово. Он должен был родиться в семье знаменитого и преуспевающего ученого. У него, в сравнении со сверстниками, должны быть хорошие “стартовые возможности” – поездок за границу, допустим. Именно его рассказы должны были получить в Америке какую-то премию – даже если бы он писал плохую прозу (он, впрочем, пишет хорошую). Может быть – для пущей сюжетности – ему следует жениться на еврейке, которая окажется ему переводчиком на какой-нибудь язык. Персонаж наш еще не потерял набоковски-преlestных детства и юности, но если вдруг потеряет – в грубо-физическом, материальном смысле (революция, побег по морю, Константинополь какой-нибудь, европейские пансионаты), он уже успел запомнить это так хорошо, что перемена декораций и качества жизни окажется только незначительной подробностью. В его поколении должен был случиться поэт, имеющий возможность не обращать внимания на... жизнь. На ее, предположим, течение. Вадим Месяц – герой другого романа. Ему мир интересен в своей “тактильности”. В осязаемости, выпуклости, фактурности, в каких-то внутренних ритмах, в пластичности, доступной – неважно – пальцам, глазу или душе».

Героем Набокова мне в глазах современников быть не хотелось. «Хруст французской булки» в те времена был в диковинку, но меня явно принимали не за того. Ореол, мерцающий над головой профессорского сына, быстро сходил на нет вместе с уходящей империей. Скоро Ксения Собчак и Мара Багдасарян покажут нам, что такое настоящая «золотая молодежь».

Гембицкая действительно перевела с десятков моих рассказов. Некоторые из них удалось пристроить в журналах США. Контакты с американцами были в те времена занятием популярным. Об Америке у нас было идеалистическое представление. Первые увиденные нами американские фильмы после Антониони и Тарковского казались подвижной механической ерундой, но не в Голливуде – счастье. В юности я много читал Джона Дос Пассоса, Хэмингуэя, Фицджеральда, Уайлдера. В «американщине» явно видел толк.

Волей случая мне удалось пристроить Ксюшу в один американский институт, занимавшийся исследованием российских природных ископаемых. В смысле стратегии американцы были парнями нормальными. После падения «занавеса» принялись за составление карт ресурсов, полученных ими в наследство от СССР. В институте у Кейнса работали ребята из Сибири, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Грузии.

С Биллом Кейнсом мы пересекались ранее. Он посещал Институт геохимии в Екатеринбурге, заходил к нам в гости. Сейчас летел из Уфы. Мы вычислили его в Москве и пригласили на завтрак. После голодного Башкортостана он был рад салату из свежих помидоров и огурцов, сыру сулугуни, теплomu лавашу. Он утвердился в выборе. Ксения являлась первоклассным специалистом и должна была поехать в его контору в качестве штатного переводчика, а также преподавателя русского языка для американцев. Через месяц я проводил ее в аэропорту Шереметьево. Через полгода она прилетела, чтобы забрать в Америку дочь. Через некоторое время в Штатах оказался и я, трагически попрощавшись с юристом-международником Михаилом Векслером и старшим следователем прокуратуры Андреем Сорокой.

– Я – мажор, – сказал я Майе Петровне, позвонив по телефону перед отъездом. – Меня здесь не поймут. Не поверят, что я серьезный чувак. Затюкают. Забьют ногами. В Америке мне легче будет затеряться в толпе.

«Затеряться в толпе» – вот истинное счастье для поэта.

## Часть вторая Тюрьма в Каролине

### Салливанс-Айленд

Года через полтора мы сидели с Бродским в кафе на берегу Атлантики и ели устриц. Солнце стояло в зените. Горизонт слегка изгибался по округлости планеты. Неистово мяукали чайки. Ветер сносил их в сторону курортного поселка. У берега вода была мутной, словно уха на плохо очищенной рыбе. Щепки, сморщенные листья пальм, дохлые рыбины, редкие пластиковые бутылки въезжали на берег на гребнях волн. Мусор оставался на песке, не особенно отягощая картины запустения. Пляж на Салливанс-Айленде в этих местах можно было считать диким. Он не принадлежал ни пансионатам, ни городу, ни превращенной в музей военной базе. Для кафе здесь хорошее место. Живописное. Слева, вдоль небольшого залива, выстраивался целый городок богатых зданий, выкрашенных в желтый цвет, справа – заросли кустарника и высокой травы, тянущиеся до окончания острова.

Начинался прилив, и волны неуклонно приближались к нашему столику. Мы пили недорогое шампанское, безучастно поглощая моллюсков. В Южной Каролине я пристрастился к этому продукту. Бывали дни, когда я уезжал на острова с палаткой, которую ставил у воды, питался крабами и устрицами, которых обрывал с коряг в местной лагуне. Рыбалка в этих краях была неважной, а ловить рыбу в открытом океане я еще не научился.

Я уже год служил в колледже под Нью-Йорком, одна остановка на метро от Гринвич-Виллидж. До этого пожил в Южной Каролине, летом съездил с Гембицкой и ее дочерью в Новую Мексику на машине. После путешествия почувствовал себя американцем. Шутил на бензозаправках с дальнобойщиками, подмигивал кассиршам в магазинах. Я быстро перевоплощаюсь, но вряд ли войду когда-нибудь в окончательный, фундаментальный образ.

– Здесь рядом находится форт Молтри, – сказал я Бродскому. – Во время Войны за независимость был построен из бревен пальметто. Ядра англичан застревали в древесине пальм, потому что она не имеет колец. В честь сражения на Салливанс-Айленде наши придумали поместить пальму на флаг штата. Пальму и полумесяц. Последнее мне наиболее приятно.

– Удивительная дыра, – согласился Бродский. – Что вы вообще здесь делаете?

– В историческом смысле ничуть не хуже Новой Англии, – парировал я. – Конфедерация стала моей второй родиной. У вас на Севере превратно интерпретируют обычаи Юга. Суть южных штатов не в рабовладении, а в приверженности традиции. В попытке сохранить аристократический стиль.

Юг немного отучил меня от провинциального панибратства, хотя «из грязи да в князи» я не торопился.

– Шампанское – в числе ваших новых привычек? – улыбнулся Бродский. – По утрам его пьют либо дегенераты, либо аристократы.

– Мне нравится, что вы помните советское кино, – сказал я. – А шампанское ничуть не хуже кофе. Ведь никто не предлагает вам бухать после завтрака. Шампанское бодрит. Устрицы освежают. По большому счету они – не пища. Они чем-то схожи с нагой принцессой в рыбацкой сети. Не голая, но и не одетая.

– Какие у вас вычурные образы. Впрочем, природа располагает. Или это у вас от шампанского?

Сегодня днем я заехал в Чарлстон и забрал Бродского из Университета Эмбри-Риддл, где он читал лекцию по американской литературе. Прибыл он за день до этого. Его уже свозили

на обзорные экскурсии – на корабле в форт Самтер, откуда раздался первый выстрел Гражданской войны, на знаменитую плантацию «Магнолия», в рестораны с крабьим супом. Я вызвался показать изнанку американского Юга. Увез подальше от города, в дикие места. Он снисходительно принимал экскурсию, постоянно делая какие-то круговые движения языком во рту. То ли ему недавно вырвали зуб и он зализывал ранку, то ли – нервный тик.

– Мне в Америке нравится природа, – сказал я. – Остальное второстепенно. Жалко, что она находится вне общего доступа. Заборы, национальные парки. Свободный человек должен иметь свободу перемещения, а не платить за каждый визит к океану.

– Я предпочитаю Виллидж. И вообще, ваша Каролина для меня как северного человека – фантазия идиота.

– Иосиф Александрович, я тоже предпочитаю Виллидж. Живу в одной остановке метро от вас. Елкам, белкам и оленям никогда не умилялся. Не знаю, право, что может дать поэзии общение с природой – но кроме поэзии полно других чудес.

– Вы уверены?

– Для полноты картины нужно включать в природу аэродромы, заводы, небоскребы, доменные печи, вышки ЛЭП, авторемонтные мастерские, прочие объекты неорганического мира. Деление на активность и созерцательность, дионисийство и аполлонизм, город и деревню притянута за уши. Типа противоречия между физиками и лириками. В деревне больше места, чтобы припарковать машину. Вот и все различие. Вы вообще уверены, что человек – дитя природы?

– А кто же – инопланетянин?

– Ну, по крайней мере, промежуточное звено.

– Вы здесь совершенствуетесь?

– Я на каникулах. От Нью-Йорка устал. Приехал сюда на автобусе. Очень, кстати, познавательно.

– Я ездил в Анн-Арбор на автобусе, когда еще не научился водить машину, – сказал Бродский. – Тесно, вокруг нервные вонючие люди и так далее и так далее.

– Мне тоже на этот раз не повезло с соседом, – отозвался я. – Африканский подросток упрямил меня уступить ему место, чтоб поговорить с ирландской красоткой. Я пересел и оказался в обществе какого-то черного «жиртреста». Ни вздохнуть, ни пёрнуть.

Пришлось вернуться на свое место. Хлопец этот взамен предлагал мне родную сестру за двадцать баксов, но я не воспользовался.

– Страшненькая?

– Очень грубая на ощупь. К тому же я не люблю продажной любви.

Бродский сделал удивленное лицо.

– У вас на югах высокие нравы.

– Не в нравах дело. Барышня была не в моем вкусе.

Пеликан, кружащий над океаном, неожиданно спикировал в волны и ненадолго исчез из поля зрения.

– Во дает, – сказал Бродский. – Почти вертикально. Он не утонул?

– Посмотрим. Должен вот-вот появиться.

– У вас тут действительно всё похоже на парк юрского периода. По-моему, вы сознательно избегаете мест сосредоточения культуры.

– Меньше наводок, влияний. Приятно осознавать, что на сотни миль вокруг никто не думает о том, о чем думаешь ты сам.

– Ну и о чем же вы думаете?

– О том, что сегодня ночью я подложил к подножию форта Молтри камни с Синайской горы Моисея, с Гималаев Будды, кусок известняка из Стоунхенджа, гальку от Кёльнского собора, где похоронены волхвы. У меня большая коллекция.

– Вы сумасшедший?

– Главная военная мощь мира должна быть одухотворена. В Америке есть всё, кроме священных мест. Страна, которая младше нашего Большого театра, нуждается в поддержке. Будем считать, что я произвожу изменения в тонких мирах.

– А зачем вам священные места? – полюбопытствовал Бродский. – Не можете жить без святынь?

– Как зачем? Чтоб осквернять. Другого способа самовыражения я не знаю.

Иосиф Александрович ухмыльнулся.

– А чем вам демократия не святыня?

Я испуганно замолчал. Разница возрастов все-таки сказывалась.

– Почему вы, кстати, не сунулись на действующую военную базу? Боялись, что пристрелят?

– До базы я тоже доберусь, – сказал я, не меняя интонации. – Тут их множество. В Норфолке я уже был. Высыпал камни с прогулочного катера. Освятил Второй оперативный флот. Главное в нашем деле – масштабность замысла.

– Сами придумали? Или посоветовали в КГБ?

– Сам. На мой взгляд, это самая настоящая поэзия. Слов написаны груды. Они ничего не меняют. Главное, что их никто не читает. А здесь всё просто и наглядно. Камни, на которые ступали ноги пророков, оказываются там, где они не должны были оказаться. Силовые нити ноосферы перенастраиваются. Каждая моя акция меняет мир к лучшему. После выброса священных почв в Чесапикском заливе ученые расшифровали геном утконоса. Поэзия в действии. Это вам не стишки кропать.

Бродский искренне рассмеялся, отчего, как мне показалось, седина его посветлела. Он машинально плеснул устричного соуса в одну из раковин и, поддев на сервировочную вилку моллюска, предложил выпить за новую форму поэзии. Смысл моих деяний начал до него доходить.

– И много уже удалось, так сказать, освятить?

– Синай, Гималаи, Аппалачи, Скалистые горы. Новые учения обычно создаются в горах. До Эвереста я еще не долез. Подспудной задачей является смешение всех религий мира. Приведение их к общему знаменателю. Я делаю то, чего никто другой не делал раньше и без меня не сделает.

– Симпатично. Я и не знал, что вы двинулись в таком странном направлении. Об этом пишут? Из этого можно было сделать рекламную кампанию.

– Пишут, но мало. Мне кажется, главные вещи мира должны вершиться в тишине. Стихи ведь тоже не обязательно публиковать. Главное – написать. Вы говорили это. Я читал.

– А как доказать, что вы не врете? Можно же любой камушек положить на алтарь, а сказать, что он из гробницы.

– Это фиксируется, фотографируется. И потом, я решил с недавних пор вообще не врать. Как минимум, в течение этого года.

– Да? – удивился Бродский. – Я лет двадцать назад пробовал сделать нечто подобное. Не помню, чем это закончилось. – Он замялся. – А кто ваши проекты, так сказать, финансирует? Это же огромные деньги.

– Собирал макулатуру. Накопил. В Америке мне удалось решить вопрос финансовой независимости, – сказал я наиболее скромным тоном.

– ФБР этим еще не заинтересовалось?

– Приходили, но чисто поговорить по душам. Решили дружить семьями.

Официантка принесла счет и телефонную трубку на подносе.

– Вас к телефону, – обратилась она ко мне.



Я скорчил недоуменную гримасу и взял трубку. Мужчину было слышно так хорошо, будто он дышал мне в ухо. Я послушал его дыхание несколько секунд, подумав, что там астматик. Встал из-за столика и отошел в сторону, извинившись перед Бродским.

– Алло, Месяц? – услышал я отвратительный хриплый голос. – Все прохлаждаешься? Запомни, падла. Скоро умрет твой Бродский, и ты опять станешь никем. Понял?

– Понял? Кто был никем, тот станет всем.

– Ты допиздишься, щенок. Из говна пришел – в говно и вернешься.

– Отличная идея.

Человек этот, видимо чокнутый, звонил мне пару месяцев назад, но я не придал его угрозам значения. Фанатик, завистник, несостоявшийся стихотворец. Мало ли таких? Его можно было вычислить и поставить на место, но расходовать свою бессмертную душу на придурков не хотелось.

– Кто звонил? – спросил меня Иосиф, когда я вернулся.

– Евтушенко. Спрашивал о вашем здоровье.

– Вы сказали ему – не дождетесь?

– Именно это я и сказал. Вы, кстати, в курсе, что о вашей премии в СССР первым сообщил Чингиз Айтматов? Он сказал, что вы принадлежите к ведущей когорте советских поэтов, среди которых назвал Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину.

– Кто такой Айтматов? – сердито спросил Бродский. – За эти слова вас следует отравить.

– Шампанским?

Я покатал поэта по острову, показал несколько хороших гостиниц на острове Пальм, где любил останавливаться с девушками. По дороге на мост кивнул в сторону ресторана в устье заболоченной речушки.

– Здесь я когда-то уронил костюм водолаза. Чуть не пришиб своего приятеля. Тяжелый, свинцовый. Как-то мы с ним не смогли удержать равновесия.

– Я, кстати, работал на маяке, – вспомнил Бродский.

– А я мыл трупы в морге судмедэкспертизы, – ответил я.

Мы въехали на Arthur Ravenel Jr. Bridge, красивую летящую конструкцию, соединяющую острова с материком. Помолчали, проезжая светлые пролеты моста с мелкими облачками в проемах. Мост по оригинальности конструкции мог бы посоперничать с Golden Gate Bridge в Калифорнии.

– Здесь не хватает Марди Гра, как Новом Орлеане. Все одинаковое: архитектура, болота, пальмы, аллигаторы. Народ – не музыкальный. Забронзовевший от подвига былых времен. Мне джаз напоминает о бессмертии больше, чем классическая музыка. Творчество масс. У каждого дудка, и пока он на ней дудит – горя нет.

– У вас тоже такая дудка, – сказал Бродский. – Какая-то патологическая жизнерадостность. И жажда бессмысленных действий.

– С вещами, причастными к Будде, Моисею, графу Сен-Жермен, Мерлину, Григорию Распутину или Иисусу Христу, общаться приятнее, чем с функционерами американских фондов. Другой масштаб. Это вы говорили, что главное – масштабность замысла?

– Я много что говорил, – обиделся Бродский. – Вы – авантюрист, энтузиаст, ужасный человек. Ни от кого не разит таким смертным холодом, как от энтузиастов.

– Иосиф Александрович, это вы говорите, что «Poetry über alles<sup>13</sup>». Я люблю поэзию, но вижу ее во всем.

Я включил радио. Там шло горячее обсуждение истории Джона Уэйна Боббита, которому отрезала член его супруга. Тот пришел домой пьяным, изнасиловал ее, после чего уснул. Оскорбленная Лорена схватила кухонный нож, отрезала мужу половой орган, увезла его на

---

<sup>13</sup> poetry über alles (нем.) – поэзия превыше всего.

автомобиле и выбросила в чисто поле. На суде женщина возмущалась, что муж всегда кончал, не дожидаясь ее оргазма. За это и получил. Потом в Лорене проснулась совесть, она вызвала скорую помощь. Врачи нашли член Боббита, положили его на лед и пришили в больнице на прежнее место. Операция продолжалась девять с половиной часов. Мужик до сих пор собирал пожертвования, чтобы ее оплатить. История получила известность и вышла в первые заголовки новостей. За дело взялись феминистки, заявившие, что женщины должны взять тесаки для обороны от «домашних насильников».

– Я слышал, у вас появилась американская подруга, – вставил лыко в строку Бродский. – Не боитесь, что она тоже возьмется отстаивать женские права?

Я пожал плечами: мол, от судьбы не убежишь.

– Откуда вы об этом знаете? – осенило меня. – Это не то чтобы тайна...

– Мир тесен, – отозвался Бродский. – Да и вы ведете себя в Нью-Йорке вызывающим образом. Вы считаете, что в большом городе вас никто не видит, а вы – на виду. Публичная персона.

– Мне не от кого скрываться, Иосиф Александрович. Смерть, как вы знаете, красна на миру.

– Как на работе? – переключился он с темы на тему. – Вы в том же колледже?

Работу я нашел в Стивенсе, Хобокен, Нью-Джерси, в чудном городке на берегу Гудзона. Старинная застройка. Вид на Манхэттен. Через речку можно перебраться паромом или на метро. Со времен моего переезда из Каролины мы с Бродским ни разу не виделись. Поэт преподавал в Саут-Хадли, Массачусетс. В Виллидже бывал редко. Обычно мы созванивались по телефону, что обоим устраивало. То, что мне удалось поймать его на югах, можно было считать удачей, хотя никаких дел у меня к нему не было. В Америке быстро привыкаешь к дистанции, отделяющей тебя от других. В гости просто так не ходят, в аэропорту не встречают. В этом есть свой кайф.

– Как ваш фестиваль? Вы затевали какую-то русско-американскую мишпоху.

– Готовлюсь, – сказал я. – Собираю людей. Привлекаю фонды.

– Меня приглашали? – подозрительно спросил Бродский.

– Вы бы стали выступать в компании с Приговым?

– А... Припоминаю...

Во всем, что касалось современной поэзии в метрополии, Иосиф умело валял ваныку. О новых властителях дум и вкусов ему подробно докладывали его питерские и московские друзья, но положение небожителя позволяло ему демонстрировать обаятельную неосведомленность. О делах условных соперников в лице Евтушенко, Вознесенского или Ахмадулиной он был осведомлен. На порося, появившуюся после них, смотрел сквозь пальцы.

На первый фестиваль в Хобокене я позвал Нину Искренко, Аркадия Драгомощенко, Дмитрия Пригова, Ивана Жданова, друга из Екатеринбурга Аркашу Застырца, критиков Славу Курицына и Марка Липовецкого, а также Сергея Курёхина, который отчасти был другом нашей семьи. К нам подтянулась творческая интеллигенция из города. Американцев приглашал мой коллега, поэт и издатель, Эд Фостер.<sup>14</sup>

<sup>14</sup> На первый фестиваль в Хобокене... – Поэтические русско-американские биеннале и семинары проводились Вадимом Месяцем и Эдом Фостером в Stevens Institute of Technology с 1993 по 2001 год. Являлись заметным явлением культурной жизни Нью-Йорка. На них побывали Иван Жданов, Елена Шварц, Нина Искренко, Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Аркадий Застырец, Сергей Гандлевский, Тимур Кибиров, Аркадий Драгомощенко, Алексей Паршиков, Евгений Бунимович, Елена Фанайлова, Дмитрий Воденников, Станислав Львовский, Александр Скидан, Александра Петрова, Полина Барсукова, Дмитрий Волчек, Дмитрий Голышко-Вольфсон, Марк Липовецкий, Вячеслав Курицын, Сергей Курёхин, Марк Шатуновский, Елена Пахомова, Мария Максимова, Илья Кутик, Рафаэль Левчин, Ярослав Могутин, многие русские поэты проживающие в США. Главным итогом проекта стали «Антология современной американской поэзии» (в редакции В. Месяца и А. Драгомощенко, 1996) и антология современной русской поэзии «Crossing Centuries: The New Generation in Russian Poetry» (совместно с Джоном Хаем и другими, 2000).

– Хули я буду выступать с этими графоманами? – сказал Иосиф, когда я сообщил ему о предстоящей тусовке. – Не царское это дело. К тому же в мае я уезжаю в Венецию. Дело вы делаете хорошее.

Репутации не повредит. Там из поэтов-то нормальных – один Жданов. Кстати, ваши стихи мне нравятся больше.

Этот комплимент я слышал от него уже второй раз, но не понимал его смысла. Стихи Жданова я знал и в целом ценил выше собственных. Более того, с Иваном Федоровичем меня связывала нежная дружба.

Возможно, Бродский сравнивал русский поэтический потенциал с сегодняшним – еврейским. Эта тема в наших разговорах, пусть и в шутливой форме, постоянно присутствовала. Я в те времена любил философа Льва Шестова<sup>15</sup>.

– Это будет у нас Шварцман, – всегда подчеркивал Бродский.

При упоминании Льва Лосева напоминал, что тот Лифшиц по бабушке и т. п. Не знаю, было ли это важно Бродскому на самом деле, но эти разговоры инициировал он. Я эту тему не поддерживал.

---

<sup>15</sup> Лев Шестов (1866–1938, при рождении Иегуда Лейб Шварцман) – российский философ-экзистенциалист и эссеист.

## Тюрьма

Мы катились по скучноватому 26-му Интерстейту<sup>16</sup> в сторону столицы штата. Колумбия была первым американским городом, который стал мне родным. Я хотел поделиться сокровенным.

– Я перевернулся на этой дороге год назад, – сказал я Бродскому, когда мы проехали мимо озера Марион, крупнейшего в этих местах. – Ехали из Атланты ранним утром и перевернулись.

– Зеркало поэтому оторвано? – спросил поэт.

– Угу. Машина легла на бок, а потом вернулась в прежнее состояние.

– За рулем были вы? – вновь спросил он, изображая испуг.

– Ксения. Сюся. Помните?

– Та, с которой вы ко мне приезжали?

– Ага. У вас хорошая память.

– На красивых женщин – хорошая. Надеюсь, мы едем к ней в гости?

– Иосиф Александрович, она переехала в Юту. Я здесь, чтоб забрать нашу с ней машину. Ну... и чтобы повидаться с вами.

– Вы меня разочаровываете.

Прошлогодняя авария произошла, когда мы ночью возвращались из Атланты на двух машинах с сотрудниками института, где работала Ксения. Поехали встречать сына одного грузинского специалиста и заодно посмотреть город. К нам в авто села девушка, прилетевшая из Тюмени пару дней назад. Она привезла экземпляр «Литературной газеты» с моим интервью и письмом Бродского. После публикации я тоже стал небесным избранником в ее глазах.

Самолет, на котором прилетел мальчик, опоздал на несколько часов. За это время мы изучили Атланту вдоль и поперек. Решили возвращаться в Каролину ночью, чтобы не тратиться на мотели.

Одну машину вел Вахтанг, коллега из Грузии, другую – Ксения. В районе озера Марион Ксения на секунду уснула и съехала на обочину. Вахтанг отпустил руль и схватился за голову, чтобы сказать «вах». С рулевой колонкой у него было что-то неладно. Машина сама сделала резкий поворот вправо, перевернулась и легла на крышу. Сюся резко затормозила с испуга, отчего наша машина встала на бок, покачалась и вернулась в прежнее положение. Автомобиль Вахтанга сплюснулся в лепешку, но все сидящие в нем остались живы. Это было чудом.

– Я знаю, почему все спаслись, – твердила девушка из Тюмени, намекая на мое поэтическое дарование.

По ее мнению, господь должен был беречь таких, как я, для великих дел. Комментировать ее странную идею я не решился.

– Я знаю эту историю, – неожиданно сообщил Бродский. – Вы мне звонили по возвращении домой. Минут сорок болтали. Вы были немного подшофе, но держались молодцом. Язык у вас как помело. Рассказывали что-то о Дилане Томасе. Неплохой поэт. У меня в Питере висела на стене его фотокарточка. Я разыграл вас тогда немного.

– Этого я не помню, – сказал я. – Но с Дилана Томаса у меня началась какая-никакая американская жизнь.

– Пьяница он был несусветный. Такого нагородил, что десять мудрецов не разберут.

– Мне нравится. Да и понятно почти все.

– Это потому, что вы тоже пьяница, – сказал Бродский.

---

<sup>16</sup> *интерстейт* – крупная автомагистраль в США. Системой интерстейтов опоясана вся территория Соединенных Штатов.

Я покрутился по городу, показав Бродскому протестантскую церковь, где когда-то «крестился в лютеранство», рассказал об архитектуре города и семействах, с которыми подружился. Я проезжал мимо домов друзей и представлял их через окна автомобиля.

– Камилла и Алан Нэйрн, на их дочери женился мой грузинский друг. Хелен и Джон Кейтс, мои крестные родители. Нил Салливан, который научил меня пить за рулем вино из пластиковых стаканчиков. Уильям Кейнс, директор института; в их семье музицируют обе дочери. У Фрэнсиса Уилсона замечательная привычка: зимой и летом он ходит в босоножках. Здесь общежитие для приглашенных работников, скромненько, но со вкусом. Вот и университет, замечательный сад, богатая библиотека. Грин-стрит – в этом доме мы жили. Университет дал Ксении трехкомнатную квартиру, мы прекрасно разместились. Место называется Файв-Пойнтс, мы сюда еще вернемся. Вечером здесь живая музыка.

– Зачем вы всё это мне показываете? – спросил Бродский, брезгливо морщась.

– Затем, что в каждом из этих домов накрыт стол в вашу честь, – сказал я. – Но мы пойдем другим путем. – Я развернул рекламный буклет. – Центральная тюрьма штата Южная Каролина «Виста», на 700 камер, была основана в 1867 году. За время существования пропустила сквозь свои стены 80 тысяч заключенных. До 1912 года здесь казнили через повешение, позже был введен гуманный электрический стул. Открыта для свободных посещений в субботу и воскресенье.

– Хм. Интересненько. А заключенных вывезли?

– На эту тему здесь ничего не сказано. Посмотрим?

– Не перестаю вам удивляться. Вы привезли меня сюда показать тюрьму?

– А у вас была когда-нибудь такая возможность? Советские тюрьмы вы видели, давайте посмотрим американскую.

«Виста» была открыта для посещений уже второй день. Я заезжал сюда перед поездкой в Чарлстон справиться о билетах, но билетерша пообещала, что в тюрьму попадут все желающие. Сегодня наплыв спал. Исправительное учреждение со спортивным полем, мастерскими, пристройками, госпиталем и гигантским пятиэтажным бастионом тянулось вдоль городского канала Колумбии и занимало целый квартал. Когда-то каторжан заставили натаскать сюда булыжников из бассейна Броуд-Ривер для строительства каменного здания на века. Тюрьма давно уже стала анахронизмом в ландшафтном дизайне Колумбии, и ее было решено снести. Обыватель устремился в «замок страха» с нездоровым любопытством. Если в жизни вам не удалось побыть в застенках, посетите их хотя бы в виде экскурсии. Вход был бесплатным. Дети до шестнадцати лет без сопровождающих не допускались, но некоторые семьи пришли в полном составе. Такое увидишь не каждый день.

Мы пристроились в конце очереди. Бродский перестал ворчать, обнаружив себя в среде добропорядочных горожан, а не диких южных реднеков. Народ делили на группы по пятнадцать человек. Минут через десять мы проникли в здание в сопровождении офицера, проводящего экскурсию. Нам попался помощник шерифа майор Маккормак. Вверенное ему заведение он знал как свои пять пальцев. Увольнялся отсюда он с очевидным сожалением.

– Приглашаю вас из рая в ад, – гостеприимно сказал он и провел нас через ряд кордонов и турникетов, ведущих в основное помещение. – Этот проход у нас назывался «туннелем». Для многих он являлся дорогой в одну сторону. – Маккормак не мог сдерживать садистских интонаций. Нечто подобное я заметил когда-то за латышским гидом в Саласпилсе.

Мы вышли на пятачок внутреннего двора. Вокруг располагались решетчатые ярусы клеток. Царство бетона и железа с облупленной штукатуркой, редкими ляпами шпаклевки и такой же спонтанной закраски. Яркий электрический свет усиливал картину запустения. Через несколько минут мне захотелось забиться в темный угол.

Слушали мы невнимательно, больше смотрели по сторонам. Камеры шли рядами вдоль коридора, двухместные и одиночки. В каждой из них еще оставались следы прежней жизни.

Заключенным разрешалось держать радиоприемники, электрические чайники, эспандеры и гантели. В одной камере-одиночке я с удивлением обнаружил плюшевого медведя.

Маккормак рассказывал про побеги, поджоги, восстания, но обо всем этом можно прочитать в газетах. Меня интересовал тюремный быт. Самодельная посуда, тапочки, книги, граффити на стенах.

– В Америке сидит за решеткой два миллиона человек, – сказал я. – Двадцать пять процентов заключенных всей планеты, хотя население составляет всего пять процентов от мирового. Это похлеще ГУЛАГа.

– Чушь, – резко отозвался Бродский. – Хуже нашего ничего быть не может.

– Вам виднее, – ответил я и замолчал.

– Зачем вы разводите мне эту пропаганду? – вспыхнул Бродский. – Сравните еще концлагеря, в которых сидели японцы, с нашими. Тут есть суд, закон. Каждый имеет право на адвоката.

– Тюрмы здесь в основном частные. Владельцы заинтересованы в большом количестве обвинительных приговоров. Платят «бонусы» судьям, чтобы сроки заключения были максимальными. Особенно для квалифицированных рабочих. На этом построена целая экономика.

– С вашим поколением лучше не спорить. Все-то вы знаете.

– Я не спорю. Читал перед этим статью в газете.

– Газетчики ничего не знают. Вы когда родились?

– В 1964-м.

– Я встречал этот год в Кашенко. Думал откосить от суда.

– Я в Кашенко люблю ездить на трамвае. Там пруд у больницы. У воды хорошо пить пиво.

– Вот именно. Ни хрена ваше поколение не понимает. И говорить не о чем. Зачем вы меня сюда привели?

– Тут нет ничего более интересного. Можно сходить в краеведческий, но вам как писателю это должно быть ближе.

Бродский нехорошо ухмыльнулся.

– Вообще-то забавно. В такое идиотское место я мог попасть только благодаря вам.

– Диалектика тут понятная, – продолжил я. – Мир глобализуется во главе с США. Вместе с ростом прогресса набирает силу бандитский элемент. Контрреволюция крепнет. Вот Америка и строит тюрьмы. Пенитенциарные учреждения планетарного масштаба.

Тот же Гулаг, но теперь на весь мир. Скоро негров будут ссылать на Колыму. Представляете, как повысится воспитательный момент?

– Какой вы болтун. Противно слушать.

Мы заинтересовались художественным оформлением одиночной камеры какого-то наркомана. В его привязанностях можно было не сомневаться. Черти, драконы и осьминоги уживали пространство его одиночки и были явно нарисованы с натуры. Жить в такой комнате нормальному человеку невозможно.

– Может, сфотографируемся? – предложил я. – Такое нужно выставлять в музее современного искусства.

– Валяйте сами, – сказал он. – Я не хочу компрометировать вас своей компанией.

Я посмотрел на него с вызовом.

– Шутка, – сказал он. – Вы мрачный сибирский чалдон. Это так называется?

На стене камеры, у изголовья шконки, я обнаружил большой список телефонов, начертанный несмываемым маркером на стене. «Лучший в городе минет», «Беру троих за раз», «Моей задницы ты не забудешь».

Я вынул блокнот и неспешно стал переписывать номера на страницу.

Рыжебородый верзила в капюшоне подошел к Иосифу, пробормотал что-то себе под нос, настороженно посмотрел на меня.

– В этой жизни все может пригодиться, – сказал я, выбираясь из камеры.

– Особенно вам, – улыбнулся Бродский. – Представляю, какую дрянь вы тащите в свой дом. Камни, телефоны проституток, сомнительные рукописи.

– Я перевозил пластиковое дерьмо с материка на материк. В подарок другу. Потом Мишка перелетал океан и привозил его мне. Говно пересекло расстояние в десять тысяч миль и стало говном необычным. Говном с судьбой. Арт-объект. Сертификат подлинности прилагается.

– Ну и что потом?

– Потом друг умер и унес тайну этого говна в могилу.

– Взял его с собой в гроб? – спросил Бродский безжалостно.

– Ради искусства мог и взять. Умер он, кстати, в столь любезном вам Комарове.

При упоминании о Питере Бродский посерьезнел, но спрашивать ничего не стал. На могиле Ахматовой мы с Мишкой неоднократно бывали и даже поймали там белку, в которую переселилась ее душа.

Мы направились в Камелию. На Файв-Пойнтс наряду с культовыми «Папой Джазом» и «Хард-рок-кафе» имелся такой вот местный «Барнс-н-Нобл»: книги и еда. Бродский заказал себе гаспаччо, заявив, что, побывав в Мексике, ни разу его не пробовал. Я взял фарша с острым соусом. Сходил в книжный отдел и принес свежий номер эротического журнала «Желтый шелк» со своим рассказом.

– Хочу похвастаться. Начал покорять американскую коммерческую прессу, – сказал я.

– О чем там у вас?

– Молодая интеллигентная девушка соблазняет старика, встреченного на улице.

– Я знал, что вы думаете только о бабах, а умствуете для отвода глаз.

– А вы о чем думаете?

– Я всегда думаю о высоком, – сказал Бродский.

– Я постеснялся подойти к вам в тюрьме, – начал разговор рыжий мужик, который уже несколько секунд мялся у столика. Он походил на капитана пиратского судна. По-русски изъяснялся правильно, но со скандинавским, что ли, акцентом.

– Вы доводите до абсурда любые начинания, – рассмеялся Бродский, обращаясь ко мне. – Вы слышите, как это звучит. «Я не стал подходить к вам в тюрьме».

«Моряк» продолжил, не обращая внимания на реплики.

– Меня зовут Крюгер. Бенджамин Крюгер. По профессии – биофизик. Нейролог. Занимаюсь вещами, касающимися вас обоих. Можно попросить у вас автограф? – протянул он книжку Бродскому.

Книжку на английском он нашел в этом же магазине – сборник очерков нобелиата. Поэт неохотно черкнул ему несколько строк на титуле и, возвращая брошюру, спросил: «Всё?». Это было невежливо, но уместно.

– Не смею вас задерживать, – расшаркался Бенджамин. – Я видел, что молодой человек записывал телефоны интересных людей в камере-одиночке. Я бы хотел предложить вам обоим телефонный справочник, составленный мной. Звоня по этим номерам, вы приобщитесь не только к классике, но и к самой актуальной поэзии.

Бродский вытаращил на него глаза, словно его оскорбили. Я машинально протянул руку, взял книгу и, открыв ее, увидел бесконечный перечень номеров без имен и фамилий.

– Я написал все стихи на свете, – сказал Крюгер. – Ваши, – обратился он к Бродскому. – И даже ваши, – кивнул он мне. – Вам, Иосиф Александрович, не мешало бы знать об этом в конце творческого пути.

– Вы идиот? – спросил Бродский каменным голосом. – Я видел много идиотов. Вы наиболее идиотский идиот. Валите отсюда.

Как только безумец покинул помещение, мы встали из-за столика. Бродский швырнул двадцатку на стол, словно это сотня. Персонал мы не благодарили. Журнал я оставил на столике. Книгу Крюгера машинально сунул в рюкзак.

– Кругом эти гнилозубые графоманы, – ворчал Бродский, пока я вез его до станции. Ночевать в Южной Каролине поэт категорически отказался.



## Rage, rage!

Фамилия Крюгера всплывала при подготовке фестиваля в Хобокене несколько месяцев назад. Кажется, он подавал заявку на участие, но мы с коллегами ее отклонили. Более заметной оказалась Марша Гелл-Ман, жена нобелевского лауреата<sup>17</sup>, за участие которой в программе тот готов был отвалить двадцать пять тысяч. Я обрадовался. Мы могли пригласить больше литераторов из России, обеспечить народ гостиницами, банкетам, свадебными генералами.

– Это коррупция, – кисло сказал Фостер. – Кто бы мог подумать? Уважаемый человек – и такое.

– Он любит свою жену.

– Что я скажу Саймону, Джозефу, Элис, Джону? – заламывал руки Эд. – Что я сыну скажу?

– Скажешь, что Марша – золотая рыбка.

С американцами работать трудно. Пуританский дух расщепил в них здоровое человеческое начало. В иерархии ценностей, а я ее понимаю как природную достоверность, появление пишущей домохозяйки ничего не меняет. Я был слишком наивен. Теперь пишущая домохозяйка стала основным источником литературы – и здесь, и в России. К таким литературным кругам принадлежать не хочется.

С чудиками мне везло. Рыбак рыбака видит издалека. И в России, и в Америке. Прилетев сюда в 1992 году, я долгое время не знал, чем заняться. Искал приключений на свою задницу, общался с бомжами, пил пиво на рельсах с неграми и мечтал с ними о справедливом обществе. Кейнс, директор Института ресурсов, сделал мне документы сотрудника, и я записался в библиотеку, которую посетил один раз.

Я познакомился с библиотекаршей, чопорной пожилой дамой, вызвав ее расположение интересом к поэзии. Она торжественно отвела меня к полкам со стихами, объяснила, где обитают классики, где – современники. Общее представление о пишущих американцах я имел, пролистав несколько антологий местного производства. Переводить мастодонтов словесности не хотелось. Я полагал, что ими займутся Евтушенко и прочие авторы, равные по ранжиру. Существует целая порода переводчиков, берущихся только за знаменитостей. Это делает известнее их самих и увеличивает шанс на успех книги. Мне нравилось открывать новое, невзирая на величие или отсутствие репутаций. Люди в силу своей природы назначают кумирами далеко не лучших. Увешанные наградами книги следует читать в крайних случаях. История с такой скрупулезностью вымывает из памяти народов все самое живое, свежее и необычное, что стоит удивляться, что какие-то случайные отголоски доходят до нас. Говорят, наступает конец истории. Посмотрим, что будет дальше.

В библиотеке я натолкнулся на небольшую потрепанную книгу Дилана Томаса *In Country Sleep*<sup>18</sup>. Имя это я слышал лишь единожды. Хулио Кортасар<sup>19</sup> поставил строчку Томаса «O, make me a mask» наряду с фразой из Апокалипсиса перед рассказом «Преследователь» о Чарли Паркере. «Сотвори мне маску». Это все, что я знал о Томасе. Я не слыхивал о его пьяных турне по США, радиопередачах, влиянии на «Битлз», псевдониме Боба Дилана, взятом в честь

---

<sup>17</sup> *Марри Гелл-Ман* (1929–2019) – американский физик-теоретик, известный своими работами по физике элементарных частиц. Лауреат Нобелевской премии по физике (1969) «за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий».

<sup>18</sup> ...*книгу Дилана Томаса In Country Sleep...* – IN COUNTRY SLEEP. And Other Poems. By Dylan Thomas. 34 pp. Norfolk, Conn.: New Directions, 1952.

<sup>19</sup> *Хулио Кортасар* – аргентинский прозаик и поэт, живший и работавший преимущественно в Париже. Представитель «магического реализма». К рассказу «Преследователь» памяти Чарли Паркера у Кортасара два эпиграфа: «Будь верен до смерти...» (Апокалипсис, 2:10) и «O, make me a mask» (Дилан Томас).

поэта, о смерти в Нью-Йорке. Не имел представления и о нездоровом интересе к этой персоне в России. Я вообще ничего не знал, но пустился «во все тяжкие», бездумно впустив валлийца в свою жизнь. Я взялся переводить совершенно неизвестного мне поэта, считая это «русским ходом действия», случайностью, которая неизбежно превращается в судьбу.

В сборнике было шесть длинных стихотворений, что не остановило издателя NEW DIRECTIONS BOOKS дать их в твердом переплете. Я взял книгу и направился домой через университетскую рощу. Америка – страна молодая, но грабы в этой роще были толще русских былинных дубов.

Университет находился в десяти минутах ходьбы от нашего дома. Основан в девятнадцатом веке, как и моя альма матер в Томске. Дорога вела через уютный кампус, уставленный факультетскими коробками из розового кирпича, пальметто и соснами у дорожек, посыпанных оранжевым щебнем. Ближе к железной дороге начиналась необжитая территория, где можно было встретить кого угодно, кроме студентов. Бесхозные сараи с тяжелыми навесными замками, пустые собачьи будки, остатки детской площадки в виде доски-качели teeter-totter. Исчезающая цивилизация. За рельсами начиналась парковка гостиницы, в которой я собирался сегодня переночевать. После отъезда Ксении Иосифовны из Каролины я всегда останавливался в этом отеле. Окнами он смотрел на дом, где я провел первые месяцы жизни в США.

В тот день я спустился по Грин-стрит до Дивайн и сел на улице у кабачка «Безмозглые» выпить пива. Я заказал «Буш» в большом пластиковом стакане и погрузился в чтение. Многие образы казались мне непонятными и вычурными, но я понял, что Дилан Томас пишет о природе. Ястребы, цапли, стихии, уходящая юность, умирающий бог. Ко мне подсади трое художавых ребят в майках-алкашках без рукавов. Один, с испанской бородкой и засаленной бейсболкой на голове, неожиданно предложил:

– Проверь по тексту. – Он встал и приосанился. – «Do not go gentle into that good night, / Old age should burn and rave at close of day; / Rage, rage against the dying of the light!»

Я открыл страницу, изрисованную сердечками, пробитыми стрелами и кучерявыми цветами.

– Правильно, – сказал я. – Только на Юге можно встретить библиофила в пивной.

Чуваки рассмеялись. Оказалось, что любитель поэзии – местный, остальные – мексиканцы. Ребята были правильными чуваками, я чувствовал себя своим в их компании.

– А еще что-нибудь помнишь? – спросил я.

– «Though wise men at their end know dark is right, / Because their words had forked no lightning they / Do not go gentle into that good night», – с выражением произнес он и снова засмеялся.

– Откуда ты знаешь? В школе проходили?

– Да нет. Один мужик научил. – Он сделал паузу. – Когда я сидел в тюрьме. У нас этому учат в тюрьме, – нашелся он, и все трое рассмеялись.

В тот день меня угощали работяги. В честь моего начинания. Надрались мы умеренно. Расстались друзьями. Я решил, что получил знак свыше, хотя никогда не был суеверен. Позвонил Бродскому сказать, что берусь за переводы. Отреагировал он странно.

– Что касается Томасов, то у них есть еще Эдвард Томас. Тоже британец. Правда, помер пораньше. Году в 17-м.

– Эдвард лучше?

– Да нет. Но поэт хороший. В чем-то даже поизвестней Дилана.

– У меня так карта легла.

– Конечно, переводите. Он как раз вам по уму.

На этой фразе можно было бы обидеться, но я пропустил ее мимо ушей. Дилана Томаса читала улица, несмотря на то что он нагородил в стихах кучу несусветной хрени. Один пере-

водчик в Нью-Йорке сказал мне по секрету, что американцы считают Дилана Томаса дураком, на что я ответил: многие считают дураками чуть ли не всех американцев.

Я довез поэта до железнодорожной станции города Колумбия, мы вышли из машины, вдыхая аромат азалий и магнолий. На перроне Бродский вдруг взял сентиментальную ноту и рассказал, что ему на Западе поначалу было непросто. Рябит в глазах от избытка товаров, раздражают реклама и фальшивое дружелюбие людей. Поэт в этом обществе не пророк, а невольный приспособленец. Не слышит его никто, не видит, на улицах не узнаёт. Я сказал, что культурный шок для моего сибирского организма – понятие слишком изысканное. Единственное, что меня неприятно поразило в этой стране, – то, что мне не продали пива при предъявлении советского загранпаспорта. Я тыкал в страницы с визами Италии, Германии, Франции, но кассирша была непреклонна.

– Пива мне купил знакомый негр с бензозаправки, и на этом культурный шок был исчерпан.

– А я неграм поначалу не доверял, – признался Бродский. – Думал, они против меня что-то имеют.

– Тут на рельсах у меня несколько раз отбирали деньги, – сказал я. – Но я быстро привык заговаривать им зубы. И вообще, они одно время занимали мое воображение. На стриптиз ходил, пускал слюни на огромных африканских баб. Сейчас удивляюсь себе.

– Вы удивительно быстро адаптировались, – сказал Бродский. – Поражаюсь вашей пластичности. Ну а как же язык? Ведь вы приехали сюда без английского.

– Выучил с барышней в постели, – сказал я. – Ну и в школе как-то приходилось изъясняться. Но, как ни крути, главные мои университеты – улица.

– Вы приехали сюда сравнительно молодым, – заключил Бродский. – Мне было под сорок. А сорок – это не двадцать пять.

– Иосиф Александрович, мне одиноко на чужбине. Усыновите меня. Если вы столь щедро похвалили мои стихи, будьте последовательны. Я покинул святую Русь, вышел за пределы родной речи и ментальности ради того, чтобы быть рядом с вами. Теперь я одинок, неприспособлен к жизни, с трудом зарабатываю на кусок хлеба. Усыновите меня, Иосиф Александрович! Помогите талантливому гою!

Я апеллировал к своему сиротскому прозябанию в этой стране, где у меня нет ни родных, ни близких, ни ХИАС, ни Библиотеки Конгресса. Русскому труднее адаптироваться в Америке, чем еврею.

– Вадим, у вас есть влиятельный отец. Не может же у вас быть двух отцов, – рассмеялся Бродский.

– Один отец – русский, другой – американский. Нормально. Вы можете быть моим крестным отцом.

– Вы только что крестились, – резонно отвечал Иосиф. – Ваш крестный отец – господин Кейтс. И потом, у меня уже есть сын.

– Я могу перейти в другую конфессию!

– В этом я не сомневаюсь.

– Будьте моим дядей. В огороде – бузина, в Нью-Йорке – дядька. Идет? Не отказывайтесь! Я все равно не отвяжусь. «Мы ответственны за того, кого приручили».

– Вы определенно ненормальный, – Бродский нервно вздохнул.

– Будьте мне дядькой! – повторил я.

– Ладно, – он помолчал, катая языком конфетку во рту. – Дядькой так дядькой. Можете звать меня Дядя Джо. Подходит?

Мы нежно распрощались. Экскурсию и поездку на острова можно было считать удачными.

- Такое не забывается, – сказал он. – Поход в тюрьму я запомню навсегда. Вы действительно собираетесь звонить по этим блядским телефонам?
- Да. Будут отвечать сутенеры, но и они обычные люди.
- Что это у вас за национальный характер? Вы, на мой взгляд, представитель несуществующей национальности.
- И цивилизации, – добавил я, когда поезд уже тронулся.

## Мускулы плодов

Гостиница была еле освещена несколькими фонарями, стоявшими в окружении дикорастущих пальм на входе. Если бы не вывеска, то и ее можно было принять за тюрьму. Раньше она называлась по-другому. «Бейкер»? «Байкер»? Теперь стала франшизой «Хэмптонс».

Ночной портье узнал меня и, пока я заполнял анкету, предложил бинокль.

– Опять будете подсматривать за женой?

Прошлый раз я останавливался здесь, когда Ксения с дочерью еще обретались в Колумбии.

– Они уехали, – сказал я. – Просто нужно переночевать.

На стойке ресепшен у них всегда стояли два здоровых штофа с шерри, вином типа портвейна. Я наполнил себе стакан, осушил его разом, наполнил второй и уселся на кушетку в холле.

– Геологи к Кейнсу еще приезжают? – в Институт ресурсов в былые времена приезжали многочисленные делегации из Союза и стран Содружества, но теперь тайны наших природных недр были, видимо, учтены и сосчитаны.

– За последний год был какой-то поц с Кубы. Все бегал по блошиным рынкам. В остальном тишь да гладь. Контора переехала в Солт-Лейк-Сити.

– Давно туда собираюсь, – сказал я. – Лютеранином я уже побыл, пора послужить мормонам.

– Мормоны богатые, – согласился портье. – Но это не значит, что их вера правильная.

– Вы серьезно так считаете? Я думал, что бог распределяет финансы по мере приближения той или иной конфессии к истине.

Портье покрутил пальцем у виска и попытался забрать бутылки со стойки. Делал он это умело, зацепляя пятерней сразу два штофа.

Стекло даже не звякнуло.

– Не жадничайте, – остановил его я. – Я у вас редкий гость. Вы должны меня потчевать.

В номере я включил телевизор и посмотрел фрагмент Family matters, сериала про негр-тенка-ботаника в школе. Аркел-мен (так звали мальчика) мне нравился больше Супермена. Он был смешон и жалок. Люди тянутся к уродцам с большей страстью, чем к пафосным героям. Вундеркинд проводил химические опыты и заполнял пространство зеленым дымом. Изобретал вечный двигатель и ковер-самолет. Одноклассники и учителя ненавидели пылливость его натуры. Мне он был приятен. Я подумал, что после завершения съемок он вполне мог стать бандитом с большой дороги и даже отсидеть срок в нашей «Висте».

Позвонил Ксении рассказать о своих делах. Несмотря на обилие американских опекунов, «дедушек», «друзей семьи», на «манхэттенскую любовницу» и Дядю Джо, Ксения была единственным человеком, на которого в этой стране я мог положиться. Ей я звонил по поводу приготовления макарон, обращался к ней с трудностями перевода, делился с ней интригами на кафедре.

Статус нашего союза был неопределенным. В лютеранство мы крестились, чтобы в будущем обвенчаться. Отъезд в Нью-Йорк поменял мой душевный настрой. Заводить семью с женщиной старше меня на одиннадцать лет я не торопился. Когда она сообщила, что могла залететь, вообще дал задний ход. По всем законам подлости заявил, что на этом можно похоронить мою карьеру. Я ценил свободу. Хотел гулять с девушками по берегу океана в белых одеждах. Закусывать шампанское устрицами. Танцевать на дискотеках брейк-данс.

Мы поговорили о скорой встрече. Я собирался прилететь к ней на рождественские каникулы – заняться переводом Натаниэля Тарна, жившего неподалеку. О том, что у нее налаживаются отношения с одним канадцем, предположить не мог. Ксения казалась мне вечной спутни-

цей жизни. Была моей семьей. В этом южном городке я скучал по своей далекой семье. Однако если живешь с женщиной раздельно – жди окончательной разлуки.

От нечего делать я достал книгу, подаренную мне поэтическим шизофреником в «Камелии». Листы формата letter, плотно исписанные авторучкой, скопированные на ксероксе и переплетенные в мастерской наподобие амбарной книги. Дать название этой работе Крюгер не удосужился. Черный переплет с золотым тиснением – и все. Каббалистика.

Страницы были заполнены номерами телефонов, в два столбика на каждой. Какой редкий диагноз. Написал все стихи на свете? Со дня творения, что ли? Я – автор Библии: Ветхого и Нового Заветов. Средневековой исландской саги. Удмуртского эпоса. Я изобрел армянский алфавит. Продиктовал «Листья травы» Уолту Уитмену, прячась в ее зарослях.

Я открыл справочник посередине и набрал первый попавшийся номер. Соединение произошло не сразу, с гудками и помехами. На заднем плане слышались какофонические аккорды bottleneck-блюза<sup>20</sup> и текст, отдаленно напоминающий чтение стихов на испанском. На других номерах происходило что-то похожее. Неизвестные читали разрозненные строчки, переставляли их местами, подбирали слова, напевали какие-то мелодии. Чаще всего я наткнулся на китайцев. Поэзия это или декламация меню ресторана, понятно не было, но я настойчиво набирал номер за номером, пытаюсь понять, с явлением какого порядка столкнулся. Я искал русскую речь. Русские могут объяснить что угодно, даже этого не объясняя.

Наконец мне попался хриплый, почти стершийся голос соотечественника, повторивший довольно эффектную бормотал-ку раз десять.

*Дом отступал к реке, как Наутилус,  
приборами почуявший январь.  
Антоновки неистово молились,  
но осень ранняя вела себя как тварь.*

*Береговушки рыскали по-сучьи.  
В предчувствии недетских холодов  
густела кровь в скрещенных жилах сучьев  
и закипала в мускулах плодов.<sup>21</sup>*

На стихи у меня память плохая, но эти я запомнил. В них было что-то сильное, свежее. Что-то такое, чего не мог написать скандинав в капюшоне, представившийся Бенеи Крюгером. После прочтения в эфире раздался женский мат и шорох какого-то сыпучего вещества, какой бывает при расфасовке керамзита.

– Закипала в мускулах плодов, – почти крикнул голос, и связь прервалась.

Тут же зазвонил телефон.

– Что ты там делаешь? Ведешь переговоры с Албанией?

– Румынией.

– Ты наговорил на двести шестьдесят баксов.

Я выругался, повесил трубку и лег спать. Наутро скрепя сердце рассчитался за ночлег и телефонные переговоры. Портье не обманул меня – счет зашкаливал.

Я рассчитался с Hampton's и заехал к Котэ Ахвледиани попрощаться. В Колумбии у меня было несколько друзей. Котэ – особенный. Когда-то с ним вместе мы организовали у него во дворе кладбище божьих коровок. Той весной эти жуки дохли в Колумбии целыми колони-

---

<sup>20</sup> bottleneck-блюз – один из способов игры на слайд-гитаре, достигший пика развития в конце 1930-х годов.

<sup>21</sup> Дом отступал к реке, как Наутилус... – стихотворение Валерия Исаянца (цитируется по изданию В. Исаянц. Пейзажи инобытия. – М.: Водолей, 2013., с. 12).

ями. Мы стали хоронить каждую особь отдельно, давая ей имя и титул. Леди Макбет, леди Уинтер, леди Винчестер. Фантазии с использованием энциклопедии «Британника» хватило на шестьдесят могил, которые мы расположили рядами на бесхозном участке земли, усыпав цветами и молитвами. Каждая душа нуждается в спасении, даже если это душа божьей коровки. Христиане должны воспользоваться услугами нашей погребальной конторы. Поможем детям научиться хоронить близких.

Мы поговорили с Котэ о счастливом прошлом, прогулялись по кладбищу.

– Ты не знаешь, кто такой Бенджамин Крюгер? – спросил я Котэ, который уже лет пятнадцать жил в этом городе. – Встретил вчера в «Камелии» одного типа.

Котэ об этом человеке ничего не знал.

Мы набили багажник моего Nissan Sentra каштанами, которыми были усыпаны тротуары городка, и я двинулся на место моей постоянной работы – в Нью-Йорк, Нью-Йорк.

## Часть третья

### По соседству с Фрэнком Синатрой

#### Сообщение о квиригах

Что может быть гаже работы американского профессора? Звучит солидно, но денег платят мало. Работа неинтересная, лицемерная. Женщины и без этого ко мне благосклонны. Короче, занятие – на любителя. Если в вас бродит «тоска по мировой культуре», то вы здесь, может, и приживетесь. Тоска по мировой культуре – вещь местечковая. Вся Америка – вещь местечковая. Но если вы тоскуете по «мировому духу» – пиши пропало. Вы поднимете вооруженное восстание или уйдете в алкогольное самоубийство.

Я смог избежать этих крайностей. Не попал в плен страстей. На многие вещи смотрю сквозь пальцы. Чувствую, что «сердце мира» существует. Слышу его монотонный стук. И мне этого хватает. Но чтобы ни хрена не делать, нужно иметь особый талант. А у меня его нет. Так получилось, что по натуре я – человек пытливый. Хочу во всем дойти до самой сути. Говорят, это проходит.

Когда поступал сюда, хотел понравиться. Проявлял эрудицию. Сыпал цитатами и идеями. Мне сказали, что «вы для нас *overskilled*», слишком много знаете. Я пообещал всё забыть. Знания мне в быту не помогают. Я могу забыть что угодно. Забыл детство, родину, призвание. Могу декларировать любую чушь, сложив пальцы крестиком. От моей болтовни ничего не изменится. «Все равно она вертится». И «сердце мира» бьется в такт своему космическому разумению.

Я прихожу к студентам и говорю, что Пушкин был задира и бабник. За что и поплатился. Лермонтов тоже был не очень-то миролюбив. Погиб аналогичным образом. Достоевский состоял в террористической организации. Толстой участвовал в Крымской войне. Спрашивают: почему все ваши поэты были военными? Почему стреляли друг в друга? Как можно служить гармонии и одновременно убивать себе подобных?

Поначалу я объяснял это традицией. Говорил, что пистолет вручался поэту императором вместе с набором писчебумажных принадлежностей. Теперь все изменилось. Не нужно перегружать американцев деталями. Они – идеалисты, обуреваемые подростковыми идеями. Это чисто поверхностное любопытство, за которым скрываются самодовольство и пустота. Мне в этих людях чего-то не хватает. Какого-то органа. Сердца? Почек? Печени? Чего-то очень важного. Буратино не успели выстругать до конца, а он уже запел веселые песенки. С ними можно делать дела, понимая, что органом, которым пишат, к примеру, стихи, они обделены. Полагаю, они думают обо мне то же самое.

Серые коридоры. Железные двери с сетками на окнах. Аудитории. Кафедры. Кампус. Город в городе. Государство в государстве. Department of Liberal Arts<sup>22</sup>. Жизнерадостные слабоумные преподаватели и такие же студенты. Каждый день я должен разговаривать с ними о том, что нас обоюдно не интересует. Делать вид, что мы участвуем в процессе познания. Добро пожаловать!

Девок лапать нельзя. Курить в офисе нельзя. Пить можно, но в меру. Против моего офиса – комната для отдыха преподавательского состава. Там почему-то всегда есть портвейн в стеклянных графинах. Это какой-то южный обычай, который чудом перекочевал на север. Теперь

---

<sup>22</sup> *Department of liberal Arts* (англ. факультет свободных искусств) – в США с некоторых пор так часто называют факультеты общегуманитарной направленности.



вместо офиса я часто захожу в комнату отдыха. Портвейн быстро кончается. Тогда я иду к Хуаните и делаю пальцами известный лишь нам обоим знак. Она родом из Мексики. Маленькая, как добрый гном. Мы понимаем друг друга без слов.

После получения мною профессорской должности на факультете устроили банкет. Прозносили тосты. Обнимали. Хотели удостовериться, что поэты действительно существуют. По документам я к тому же – приглашенный поэт, poet in residence. В России называть себя поэтом неприлично. Надо, чтоб тебя так называли другие. В Америке все по-иному. От феодальных предрассудков здесь избавились. В Лас-Вегасе стоят египетские пирамиды. История человечества пишется в Голливуде. При университетах харчуются представители изящной словесности. Хьюз, Лоуэлл, Фрост, Гинзберг, Хини. По ксиве, сообщающей, что я русский поэт, мне удалось однажды пересечь границу Мексики и США. Женщина-пограничник вздрогнула: «Настоящий русский поэт!». И я понял, что называть себя поэтом в Америке можно. Пусть в шутку, но можно. Поэт-посланник. Координатор русско-американского культурного проекта. Мир, дружба, жвачка. Наша красота спасет мир. Я понимал по-английски не все здравицы и поэтому переспрашивал.

– За все хорошее?

– За все хорошее, – шипела завкафедрой.

Она принесла на торжество печенье, разложила его по вазочкам, сообщив, что сделала его сама.

– Она лжет, – шептала мне на ухо Дебора весь вечер. – Это магазинное печенье. Смотри, как она выделяется. В конце концов скажет: я так много сегодня работала.

– Я так много сегодня работала, – сказала Симона, – вам понравилось?

– Очень! – сказал я. – Давайте я почитаю свои стихи.

Я подошел к кафедре и зычным голосом оттрубил: «Сообщение о квиритах»<sup>23</sup>.

*Они не мажут волосы своих жен красной глиной,  
а бреют им ноги перламутровыми ножами,  
наряжают их в ткани из душистого шелка  
вместо льняной рубахи.  
Потому что они – не люди. А так – соседи.*

*Они не приносят в жертву своих детей,  
сжигая их в клетках, сплетенных из прутьев ивы.  
Но не потому, что их земля плодородней,  
а потому что они – сердобольны.  
Потому что они – не люди. А так – навроде.*

*У седел их лошадей не гремят черепа  
поверженных в бою чужеземцев.  
Их оружие не имеет имен,  
но прозвища всадников длинны и медоточивы...  
Когда побываешь, мой друг, и ты за морями —  
привези голову их царя мне.  
Все равно это не люди. А комья плоти.*

*Послушай, Хельвиг, они не умеют врать!*

---

<sup>23</sup> *Сообщение о квиритах* – стихотворение Вадима Месяца из цикла «Мифы о Хельвиге», где автор пытается передать, что могли бы сказать варвары о своих цивилизованных римских соседях.

*О чем же тогда говорить с ними?  
Наши бабы не лягут рядом с такими.  
Наши коровы станут цветом другими.  
Потому что они – не люди. Таких не любят.*

*Они пьют прозрачные вина вместо сивухи,  
прославляя достоинства местного винограда,  
но при этом настолько трудолюбивы,  
что кажется, что они просто глупы.  
Они знают правила жизни, Хельвиг!  
От отвращения тебя бы стошнило!  
Потому что они – не люди. Уже не звери.*

*И даже писать письма для них не постыдно,  
доверяя тайны бумаге, как потаскухе,  
залапанной пальцами рабов и простолюдинов,  
от небесного не отличая земной алфавит!*

*Они слагают стихи, опасаясь забвенья.  
И песни поют не богам, а себе подобным.  
Пожалей их, Хельвиг, перед походом.  
Потому что они – не люди. А мы бессмертны.*

– Как интересно, – зашумели в аудитории. – О чем это?

– О дружбе между народами, – сказал я.

– Звучит страшно, – добавил Фостер. – Будем учить русский. Или переведем его на английский.

– Как вам мое печенье? – вновь спросила завкафедрой в завершение застолья. – Дебора, уберись в комнате.

Мы остались с ней вдвоем. Я – чтобы допить вино. Она – чтобы выполнить указание начальства. С момента знакомства мы друг друга постоянно подкалываем. Это о чем-то говорит, но я не знаю, о чем.

– Когда ты пойдешь со мной в Музей холокоста? – спрашивает она. – Я чувствую пробелы в твоём образовании. Ты сходишь со мной в музей и всё поймешь.

– Я уже понял. Может, лучше в оперу? – иду я по прежней схеме.

– Сначала – Музей холокоста, а потом – светские развлечения.

– Разве опера – светское развлечение? Там орут, брызжут слюной. Религиозный экстаз.

– Сначала холокост, – настаивает она. – Ты не поймешь Америки без этих знаний.

– Мой дедушка освобождал Освенцим, – говорю я. – В музее есть его фотография?

Дебора молчит. Ей не нравится, что она не имеет на меня влияния, хотя мы оба включены в русско-американский проект. С ней мы делаем общекультурную часть, с Эдом Фостером – поэтическую. Все понукают Деборой. Даже русский поэт, явившийся сюда как хрен с горы. Я сказал ей, что прочитал вчера Песнь песней царя Соломона и что она несомненно скажется на моем творчестве. Дебора с сомнением смотрит на меня, продолжая уборку.

Я разглядываю пластиковые стаканчики с недопитым кофе и в ужасе представляю будущую жизнь. Я написал диссертацию о творчестве Дмитрия Пригова и Владимира Сорокина, отработал шесть лет, получил tenure. Обеспечен по гроб жизни. Езжу на славистские конференции, выбираюсь в отпуск в Венецию и Амстердам. У меня есть время сочинять стихи и рассказы. Студенты и студентки влюбленно смотрят на меня. Коллеги советуются по поводу и

без повода. И все бы хорошо, но куда бы я ни пришел – всюду пластиковые стаканчики. Кофе из пластиковых стаканчиков, вино из пластиковых стаканчиков, водка из пластиковых стаканчиков. После использования они мерзки, как гондоны. «А не заказать ли нам пиццы?» – «Нет, я предпочитаю гамбургер». – «Вдарим по спрайту!» – «Оттянемся со сникерсом». Цикуту мне тоже подадут из пластикового стаканчика?

## Джефферсон, 29

В колледж меня пристроил Эрик Кунхардт, американец, с которым я подружился в Москве. Это было его первым посещением СССР. Я показал ему и его жене Кристине столицу православного мира. Мы подружались. Теперь вместе с ним делаем деньги. Попутно с основной работой делаем главные деньги нашей жизни. Эрик – физик. Наука интернациональна. Физическая мафия круче итальянской.

Мои «американские дедушки» занимались физикой pulse power с противоположной стороны железного занавеса. Их имена я знал с детства. Когда-то присылали мне жвачку и пистолеты в кобуре, потом – джинсы и кроссовки. Теперь, когда я появился рядом, по привычке продолжали заботиться. Мы встретились и познакомились вживую. К тому времени Арт Гензер успел побывать мэром Санта-Фе, Крис стал ректором крупного университета в Техасе, Джим – руководителем лаборатории в Миссури. Старики служили в американском военно-промышленном комплексе, по традиции уважали советских ученых и писателей. Мы перед падением СССР опережали их в области «сильноточной электроники» (pulse power) на десять лет. Времена изменились. Мой выбор ученые восприняли на ура. Не всем людям на свете нужно заниматься наукой и войной. Поэтов в нашей среде не было. Помогать мне считалось забавной и почетной обязанностью.

Я не искал работу. Я выбирал то, что мне подходит. Начальник моей подруги по Институту ресурсов мог пристроить меня к местному поэту, которого звали то ли Смит, то ли Грин, но я получил от Бродского столь уничижительную характеристику этого старца, что спешно ретировался. Через академика Сагдеева были выходы на Аксенова и Бобышева, но они тоже работали где-то в глубинке. Я рвался в Нью-Йорк. Все молодые люди хотят жить в Нью-Йорке, даже если они амиши или мормоны. «Город желтого дьявола» дает перспективы. Он – чудо света. Там скапливается огромное количество деловых людей и красивых женщин.

В стране я находился по приглашению фирмы, состоящей из одного человека. Визу просрочил, но по этому поводу не переживал. Неожиданно позвонил Эрик. В Стивенсе, где он в то время работал, был гуманитарный факультет.

– Дыма, прилетай на собеседование. Надо поговорить с ними, – жизнерадостно сказал он мне, когда я подумывал, что меня вот-вот выдворят из страны.

Мои будущие коллеги Россией интересовались. В 90-х была такая вспышка интереса. Поэт Эд Фостер, который преподавал в колледже и издавал журнал «Талисман», сказал, что знает стихи Еременко и Искренко. Хорошее начало. С ребятами я был знаком по Москве и считал их «своими». Колледж произвел на меня впечатление. Он источал романтический флер и щебетал голосами разнонациональных студентов.

По архитектуре Стивенс походил на средневековый замок, обнесенный зубчатой стеной с бойницами. Место так и называется – Castle Point on the Hudson. Крепость на Гудзоне. Над обрывом стоит старинная пушка, направленная на Манхэттен. В кампусе мощные тротуары, и хотя колледж давно расширился и перешагнул за пределы Старого города, уютней всего гулять под защитой булыжных стен.

В Хобокене я снял помещение полуподвального типа на Джефферсон-Стрит, 29. Спальный район.

– В двух домах отсюда родился Фрэнк Синатра, – сказала мне дородная брокерша, через которую я искал себе жилье. – Это – итальянская улица. Значит, здесь не будет негров. Это существенное преимущество. Ты должен это ценить.

– Я люблю негров, – сказал я ей. – «Русские поэты любят больших негров»<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> «Русский поэт предпочитает больших негров» – под этим названием в 1976 г. во Франции вышел первый роман Эдуарда

– Ты поэт? – спросила она. – А я-то все думаю...

Я поднял глаза, оценивающе осматривая ее формы. С горечью посмотрел на место моего грядущего одиночества и вздохнул.

– Тебе что-то не нравится?

– Кондиционера нет. Джакузи. Плазменного экрана.

– У вас в Москве нет ни кондиционеров, ни льда в коктейль.

– Зато мы первыми полетели в космос.

Две длинных комнаты в желтой известке располагались параллельно друг другу и были разделены общим коридором, ведущим на лестницу. В одной комнате – спальня, в другой – кухня. Пятьсот баксов в месяц за всю радость. Денег в те времена у меня было мало. Я считал Нью-Йорк крайне негостеприимным городом. На кухне неистребимо пахло газом. В жилой комнате – дачной сыростью. В такой камерке Раскольников задумал зарубить топором старуху-процентщицу, сказал об этом впоследствии мой приятель. Мне эта идея приходила в голову с подросткового возраста.

За окнами спальни прогуливались люди. При желании я мог лежать на кровати и заглядывать под юбки. За окнами, выходящими во двор, стояли кусты помидоров, укрепленные реечками, воткнутыми в землю. Среди них возвышалась пластиковая статуэтка Девы Марии с Младенцем на руках. Зрелище напоминало церковную службу, на которую пришли прихожане, взявшись за руки.

«Хобокен, штат Нью-Джерси, городок с голландским названием, некогда был населен преимущественно выходцами из Германии. Уютные домики из красного кирпича стояли под сенью густых лип и акаций. В хорошую погоду жители любили (и до сих пор любят) сидеть на скамейках на набережной и смотреть, как у входа в нью-йоркскую гавань снуют взад-вперед корабли. В Хобокене варили и пили много пива; пили, впрочем, в пивных степенно и в меру, без хмельного разгула. Был в городке технический колледж. Студенты, большей частью приезжие, вышучивали и Хобокен, и хобокенских пивоваров, а когда им хотелось по-настоящему кутнуть, переправлялись на пароме в Нью-Йорк, где жизнь, как известно, бьет ключом», – пишет Торнтон Уайлдер о Хобокене образца 1838 года. С тех пор здесь мало что изменилось. Паром остался, но появилось и метро. Городок тихий. Это вам не Манхэттен. Мой коллега Эдвард Фостер говорит, что лет десять назад, когда здесь был порт, девицам вечером не было прохода от пьяных моряков, и сам он неоднократно получал по таблу, возвращаясь с работы. Теперь порт принял декоративный облик, но пивные остались. Согласно легенде, здесь самая высокая их плотность на квадратный километр по всем Штатам.

Из-за конкуренции цены падают. Как-то я нашел здесь разливное пиво за доллар двадцать. В Манхэттене такого не бывает.

## Во сне и наяву

В ту пору мне начали сниться тексты книг. Я читал их с интересом или без интереса, не задумываясь, с реальными или несуществующими текстами мне приходится иметь дело. В последнее время я вообще стал мало читать – и без того много жизни. Мне хватало действий, картинок улиц, встреч и споров, но ночью природа пыталась восстановить некий баланс. Я никогда не был хорошим читателем, по большому счету оставался нахально необразован, но именно это давало возможность писать, ни о чем не задумываясь. Культурным багажом я отягощен не был. Кабинетной деятельности предпочитал работу на свежем воздухе. В офис ходить я был должен, как и вести занятия со студентами, но времени, чтобы шляться по улицам, было предостаточно.

Жизнь моя складывалась удачно, даже слишком. Самое время было вздремнуть, чтоб не зарваться. Явь казалась мне невероятным и даже немного пугающим триумфом провинциала. Во сне я был беззащитен.

Я засыпал, и литература подкрадывалась к моему изголовью в самом разнообразном виде. Художественная, популярная, техническая. Однажды снились рецепты из поваренных книг, которые я впоследствии использовал.

Наутро от моего знания оставались обрывки фраз или цитаты. Бредовые, никем не подписанные афоризмы. Некоторые я видел написанными готическим шрифтом. Я кое-что помню. Посудите сами: «Женщина – это Отелло, который может ранить, но не может убить». В минуты перед пробуждением это выражение казалось мне божественным откровением.

Интеллектуальный уровень моего бессознательного чтения можно оценить по этой цитате. Меня этот уровень вполне удовлетворял. Потаенная жизнь той осени вела меня именно к абсурдным размышлениям.

Засыпая, я отключался сразу, уходил на дно, и делал это без отчаяния, а даже с удовольствием. Я мог пролежать в постели в течение трех дней, если позволяли обстоятельства. Я был абсолютно счастлив. Я приобретал уникальный опыт. Мне не нужно было пищи, общения, планов на завтрашний день. Я спал, а если не спал, то просто лежал в полузабытии. Вероятно, я привыкал к будущему, самому продолжительному и естественному состоянию человеческого тела. К состоянию лежащего в могиле. Либи́до соперничало с мори́до. Мори́до иногда одерживало верх. Моя гипотетическая смерть лишила меня последних комплексов. Теперь мне казалось, что я могу открыть пинком любую дверь, соблазнить любую женщину, написать великое произведение. Чакра свободы открылась на моем затылке. В нее задувал приморский бриз.

До переезда в Нью-Джерси мне довелось пожить на Манхэттене. Там я поселился у Богдана Модрича (крупного дельца из Белграда), который снимал студию для супруги – художницы Драганы Весны. Та, в свою очередь, держала ее для любовника – тоже художника. Квартира была завешана шедеврами абстракционизма от квартиранта. Натюрморты, портреты, батальные полотна. Днем картины безлико смотрели на меня, не балуя ни композицией, ни сюжетом. Ближе к ночи художественный мир оживал. Я ложился на кровать, и художник Лернер пялился на меня с каждого беспредметного полотна. Я был простужен и мог объяснить появление галлюцинаций высокой температурой, но все оказалось не так просто.

На Балканах шла война, но на Манхэттене сербы, хорваты и босняки дружили. По крайней мере, артистические выставки для массовости устраивали вместе. Они считали себя жертвами агрессии посторонних сил. Находясь в логове этих сил, своими именами их не называли. Японцы, говорят, тоже не знают, кто сбросил на них ядерные бомбы.

Иногда звонил телефон. Возбужденные голоса спрашивали, бомбить ли Сараево.

– Сегодня не надо, – отвечал я. – Объявляю временное прекращение огня.

Квартира была завалена пропагандистской литературой. Из нее я узнавал о зверствах усташей и боснийцев во время Второй мировой. Когда-то я сталкивался с подобным чтивом в лаборатории академика Сагдеева, но там речь шла преимущественно о преследованиях татар и геноциде армян.

С Лернером я встретился на чтениях Чарльза Симика, успешного американского поэта сербского происхождения. На вечере узнал, что Тито был такой же мудак, как и Сталин, но гораздо более приятной наружности. Я послушал стихи знаменитого Чарльза, ознакомился с выставкой.

Модрич был мордат и циничен, как многие южные славяне. Несмотря на жизнь среди икон и красных стягов, наши братья по крови гораздо более прагматичны, чем мы. Богдан поставлял оружие всем сторонам конфликта. Меня опекал с корыстными целями. Дарил телефонные карточки с безлимитным тарифом на звонки в Россию. Знакомил со знаменитостями. Кормил в дорогих ресторанах. Он хотел получить весь бизнес, который я вел с Эриком и моими «американскими дедушками». Хотел контролировать продажи российской экспериментальной аппаратуры в США. Ему были нужны наша инфраструктура, контакты, рынки сбыта, логистика. Он не прилагал больших усилий, чтобы скрывать это. Хитрость – интеллект дураков.

– Проси у него все, что хочешь, – сказал Модрич, когда мы подошли к поэту.

– Подпишите мне ваш сборник, – сказал я и протянул Симику книжку, купленную на вечере.

Симик вывел несколько строчек, не меняя выражения лица, угрюмо посмотрел на Модрича, потом – на меня.

– Познакомьте меня с певицей Шер, – сказал я. – Она понравилась мне в «Иствикских ведьмах»<sup>25</sup>.

И здесь я поймал на себе взгляд художника Лернера. Стекланный взгляд гипнотизера или сумасшедшего. Он ненавидел меня за то, что я занял место в квартире, где раньше жил он, и подозревал в связях со своей любовницей. Он был готов отомстить мне за содеянное. У него были длинные слипшиеся волосы, как у лесного брата, страшный гоголевский профиль, глаза белесые, как бельма.

Ночью коллажи в спальне зашевелились. На каждом из них зажглись колючие голубые звезды. Лернер на полотнах корчил рожи, шептал языческие проклятья, скрипел подрамниками. Наутро я съехал в общежитие.

В общежитии прожил недолго, набедокулив с французскими студентами. Теперь жил на родной улице Фрэнка Синатры, где общался в основном с пожилым соседом. В теплую погоду Джонни сидел на крыльце и пил «Бадвайзер» из красных банок. Я предпочитал «Роллинг Рок» из зеленых бутылок. Я нашел в Хобокене лавку, где какой-то турок продавал по дешевке это пиво и шведскую водку «Абсолют». Почти в два раза дешевле, чем в городе. Я предложил Джонни наладить бизнес.

– Если будешь так смотреть на мою Люси, не проживешь здесь и месяца, – ответил он.

Люси, его дочь, ничего особенного собой не представляла, но меня удивила нарастающая ревность мужского населения к гастролеру в моем лице. Неужели похоть светилась в моих глазах?

---

<sup>25</sup> «Иствикские ведьмы» – фильм Джорджа Миллера, вышедший на экраны в 1987 году. Является экранизацией одноименного романа Джона Апдайка.

## Маргарита

Мир проще всего познать через женщину. Через ее запах, кожу, губы. Я делал то, что было для меня наиболее естественным, хотя это не самый простой путь. Если я был падок до всего иностранного, то в первую очередь до девок. Остальное меня не очень-то и вставляло. Ксения торчала от того, что в местных супермаркетах продавали клубнику. Мой друг Саша Калужский считал главным достижением, что в Америке можно разбить израсходованную зажигалку о стену и купить новую, а не запрашивать по сто раз, как на родине. Кто-то прикалывался по кроваткам или качественному алкоголю. Другие балдели от шмоток и автомобилей. Жить тут было удобнее, сытнее и безопаснее, но если тебя манит «мировая молодящая злость»<sup>26</sup>, этого – мало.

Я не знал толком, каких побед хочу, однако был настроен на преодоление и завоевание.

Отмороженный, безбашенный, я подчинялся инстинкту выживания, а тот подсказывал далеко не рациональное поведение. Я был глуп и самоуверен. Шел наугад. Нью-Йорк вызывал во мне физиологическую реакцию, я чувствовал его как единый женский организм, к которому уже прильнул и оторвусь только после того, как вожделение иссякнет.

Я видел, что город отвечает мне взаимностью. Хочет поддержать, обласкать. Я был у него за пазухой и знал, что он не даст меня в обиду. Я приглянулся ему своей несуразностью. «Поэт волен относиться к обществу так же, как оно относится к поэту», – утверждал Дядя Джо. Рильке и Цой твердили, что «весь мир идет на тебя войной», хотя все, на что этот мир способен – равнодушие. Любовь рождается именно из него. Из равнодушия, разочарования. Отчаяния. Скептической ухмылки. Истерического хохота.

В каждом прохожем я видел любовницу или любовника. Я очаровывался летящей походкой студенток, неторопливой поступью матрон, подолгу следил за задницами спортсменов, пробегающих вдоль набережной Гудзона или по дорожкам Центрального парка. Я был готов целовать руки людей в метро, если они казались мне родными. Любая плоть, даже самая убогая, способна царапать и вкрапливаться в нас благодаря общей с нами природе. Человеческие уши и носы, испуганные кадыки, тоненькие ключицы под шелковыми блузками; лица в непрерывном тлении повседневности; встреченное вдруг что-то знакомое: какой-нибудь рот, усмешка, порезанный палец – желание здороваться с этим. Это чувство меня не оставляло.

Я был готов присягнуть каждому на всю жизнь или до следующей остановки. Дела людей, их бизнес, семейные узы казались мне условностью по сравнению с биологическим родством.

Я был предметом, обладающим жизнью, существом без рода и племени, в одежде, наброшенной наспех, чтобы избавиться от нее в любой подходящий момент. Трезвый или немного навеселе, я шлялся по городу и мог, как мне казалось, зайти в любую дверь. У меня не было сомнений, что меня ждут, прихорашиваются у зеркала и надевают лучшее нижнее белье. Я осматривался по сторонам. Все вокруг были такими же. Мужчины – героями Генри Миллера, женщины – девушками из «Последнего танго в Париже». Над всеми горел нимб свободы и одиночества. Жалкое зрелище.

Друг и наставник Фостера – Джек Спайсер – перевел на английский «Поэта в Нью-Йорке» Гарсии Лорки. В среде моих друзей, гнездившихся в Сент-Маркс-плейс<sup>27</sup>, стало доброй традицией писать стихи «после Лорки», добавляя к его отчаянию – свое. Я внимательно следил за их творчеством и понимал, что мне к нему добавить нечего. Все было сказано до меня.

---

<sup>26</sup> «Мировая молодящая злость» – неточная цитата из «Стихов памяти Андрея Белого Осипа Мандельштама» (1934).

<sup>27</sup> *Сент Маркс Плейс* – улица в Ист Вилладже, где с 1966 года в бывшей церкви святого Марка проводятся чтения поэзии авангардного направления (так называемый The Poetry Project at St. Mark's Church).



Я писал лишь для того, чтоб чем-нибудь занять руки и успокоиться. Мне нравилось писать. Вставлял сам процесс. Этим я ограничивался. Не знал, что такое хорошо и что такое плохо. Грех уныния – смертный грех. Он ничем не благообразней убийства или прелюбодеяния. Одиночество стало здесь общим местом, растиражированным товаром, наподобие Матисса или Модильяни, и я из чувства самосохранения не хотел диагностировать его в себе. Переход в состояние ищущего зверя – вещь обыкновенная. Если бы мы вдруг утратили все социальные ограничения, то мгновенно стали бы собаками-ищейками, не ведающими ни стыда, ни страха.

Маргарита должна была появиться в моей жизни. Я чувствовал, как мы идем друг к другу через город, вытянув вперед руки, словно лунатики, не оглядываясь по сторонам.

В студию к Эрнсту Неизвестному я наведывался с момента появления в Нью-Йорке. В число «американских дедушек» он не входил, но тоже взял на себя шефство над «молодым дарованием».

– Надо помочь парню на первых порах, – говорил он. Эрнст считал, что помог на первых порах многим.

Обычно я заходил передать что-нибудь из Екатеринбурга. Скульптор затеял ставить памятники жертвам сталинизма в Магадане и на Урале. Я иногда перевозил с оказией документы. Люди передавали и более прозаические вещи: варенье, сало, водку. Друзей у Эрнста в Екатеринбурге оставалось много. Однажды привез «Выписку из наградного листа»: приказ по 86-й гвардейской стрелковой Николаевской краснознаменной дивизии № 088/Н от 4 мая 1945 года о награждении Неизвестного 2 мая 1945 года орденом Красной Звезды.

В тексте случались опечатки, но смысл оставался величественным.

«Тов. Неизвестный в боях западнее Рюккендорфа 28 апреля 1945 года по захвату контрольного пленного проявил себя смелым и инициативным командиром. Он одним из первых поднялся в атаку на противника, увлекая за собой бойцов своего взвода. Ворвавшись в траншеи, он гранатами и огнем из автомата уничтожил пулеметную точку и 16 немецких солдат. Будучи ранен, он продолжал командовать взводом, и благодаря этому траншеи противника и пленный были взяты».

Доставить такую депешу приятнее, чем жбан уральского самогона. Я обрелся в те времена у Модрича и до Гранд-стрит, 81, добрел пешком. В воскресенье, в первой половине дня. На кухне в студии застал невиданное прежде таинство.

На кухне молодая супруга готовила скульптору гоголь-моголь. В миске взбивались яйца, перемешанные с уксусом и перцем. Анна добавляла в него кофе. Эрнст добавлял в него водки. Процесс сопровождался шутками и прибаутками. Из-за обилия скульптур в помещении казалось, что здесь много народа. Я затерялся среди экспонатов. Когда напиток был готов, Эрнст залпом хлопнул его из большой стопки и в очередной раз поздоровался со мной.

– Главная опасность – неосторожно опохмелиться, – сказал он.

Эту мысль я слышал от него не в первый раз. В жизни он пользовался несколькими универсальными девизами и выражениями. О знакомых, начиная с Лимонова и кончая римским папой, у него всегда был заготовлен определенный набор фраз. Этот – талантливый, но непутевый. Другой – бездарен, но женщины и связи подняли его до невиданных высот. И т. д. Этому стоило поучиться. Зачем изобретать велосипед? Каждому явлению и человеку дается точное определение. В случае необходимости оно вынимается из картотеки. Я в те времена предпочитал изменчивость. Старался не повторяться, ходить до дома разными дорогами – мне было нужно обмануть судьбу, если это вообще возможно.

После победы Ельцина и воцарения в стране хищнического капитализма в гости к Эрнсту зачастили российские политики, которые толпами околачивались в Нью-Йорке. Что им было нужно, не знаю. Возможно, хотели приобщиться к прекрасному. Или пожертвовать деньги на какой-нибудь монумент. История вершилась на наших глазах. На «бентли» и «майбахах», в

дорогих пиджаках словно бы с чужого плеча, пахнувшие вискарем и одеколоном, они закупали в Америке мясо для спасения молодой демократии, искали помощи у дворянских собраний и еврейских благотворительных организаций.

– Полукровки любят всё русское, – говорил Эрнст об Александре Руцком. – Русская водка, баня, огурчики, самоварчики. Настоящим русским на это наплевать. А выкресты и полукровки любят. Дам руку на отсечение, что он еврей по матушке.

Как-то застал в студии Филиппа Туровера, банкира тогдашней знати и ельцинской «семьи». Он приезжал к своей однокласснице Анне, второй жене скульптора. Решил покатать всех на лимузине. Я почему-то затесался в их компанию, ездил по Манхэттену – по ресторанам – и до посинения угощался шампанским.

Сегодня у Неизвестного визитеров не было. Я подсел к нему и показал фляжку во внутреннем кармане пиджака.

– А я сегодня, Эрнст Иосифович, получил работу.

– О, какой молодец! Ося пристроил?

– Да нет, – улыбнулся я. – Сам нашел.

До этого мне не приходило в голову, что мои успехи будут связывать с покровительством Дяди Джо.

Пить Неизвестный отказался, кивнув на жену, которая готовила завтрак. А сделать выставку в моей конторе согласился.

– Только заплати что-нибудь. Чисто символически.

Я вспомнил о выписке из приказа, которую привез Эрнсту, вынул ее из рюкзака и положил на стол.

– Хрущев поэтому решил, что вы хотите перестрелять всё Политбюро?

Неизвестный посмотрел документ, улыбнулся.

– Думаю, он не знал об этом. Ему нужно было держать всех в страхе. Как Сталин он поступить не мог. Поэтому нес постоянно какую-то непредсказуемую пургу, чтобы сбить противника с толку.

На встречу с директором студии Эрнста Неизвестного, Маргарет Гейтвуд, я вырядился как на свадьбу. Надел все лучшее. Тонкие брюки и сорочку, льняной пиджак. На грудь прицепил галстук-боло с медвежьей лапой, который привез тем летом из Санта-Фе. Походил на техасского брокера. Она поначалу решила, что я гораздо серьезнее и старше. Мы выпили кофе в забегаловке напротив студии и на следующий день встретились в Стивенсе. Дебора тут же напустила важности, провела нас в Пирс-холл, где намечалась выставка. Показала несколько стеклянных ящиков, в которых предполагалось разместить экспонаты. Графику мы должны были развесить на стенах, литые разместить в стеклянных саркофагах. Ключи она предпочитала держать при себе. Всячески подчеркивала, что я русский поэт и существо не от мира сего. Лучших рекомендаций для Маргарет я и не мог ожидать. Тем же вечером мы посмеивались над учителькой, сидя в хобокенской пивной.

– У нас это называется brown-pose, – учила меня Маргарет сленгу. – Хочет понравиться начальству. Кстати, она сто процентов хочет залезть тебе в штаны.

– Что за ерунда?

– Я знаю. Женщины видят друг друга.

Вечером я позвонил Маргарет и предложил продолжить вечеринку. Она с неожиданным энтузиазмом согласилась. Я положил в рюкзак галлон красного калифорнийского, кинул несколько яблок и два граненых стакана, оказавшихся на кухне. Маргарет ждала меня у станции метро. Она по-походному переоделась: была в джинсах и брезентовой куртке. На мое появление отреагировала с веселым интересом.

– Что-то случилось?

– Конечно, случилось. Соскучился.

Она промолчала и пошла в сторону Уэст-Сайда, чувствуя спиной, что я ковыляю следом. Мы перешли несколько авеню и дошли до реки. Мэгги случайно привела меня в Челси, к зданию Компартии США. Кунхардт когда-то показывал мне эту достопримечательность. Я узнал место и показал Мэгги штаб-квартиру местных коммунистов.

– Ты знаешь город лучше меня, – удивилась она. – Это филиал Советского Союза?

– Это все, что от него осталось, – сказал я.

На фасаде здания еще сохранялась роспись с лицами вождей мирового пролетариата. Маргарет узнала Че Гевару, Троцкого и Карла Маркса.

Мы вышли на набережную Гудзона в поисках скамейки. Здесь велось какое-то строительство, и выходы к воде тут и там были огорожены красными заборами. За разорванной колючей проволокой сидели два негра, раскуривающих отсырелый косяк.

– Такова жизнь, – задумчиво говорил один из них.

– Ты прав, – соглашался другой.

– Философы, – сказал я. – Пойдем от них подальше.

Маргарет засмеялась и взяла меня за руку. Мы сели неподалеку от философов и выпили по стакану вина.

– Это плохое вино, – сказала Маргарет. – Много сахара. Его можно пить, но я научу тебя покупать хорошее.

– Допьем это – купим другое, – сказал я.

– Я уже напилась. Серьезно. Но выпью еще, ты не думай.

Она становилась смешливой и расторможенной. Мы сидели на берегу, пока не замерзли. По примеру Фостера я купил к тому времени кожаную куртку, узкие джинсы и высокие мотоциклетные сапоги в Ист-Виллидж. Носил кепку Sagoal задом наперед, чтобы был виден фирменный знак «кенгуру». Я вел себя как папуас, примеряющий цилиндры и пенсне заморских пришельцев. Когда мы поднялись с наших ящиков, я повязал Маргарет на шею салатный шарф, в котором ходил той осенью.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.